Капка

Варлаам Степанович Рыжаков

SHOUT
SHARE
IT

- Рыжаков Варлаам Степанович

Рыжаков Варлаам Степанович
Капка

Варлаам Степанович РЫЖАКОВ

Капка

Повесть

Л. Ф. Чугриной

Жили в нашей деревне два друга. Башин и Машин. Башина звали Колькой, Машина - Шуркой. Жили они по соседству.

У Башиных дом был крыт железом, у Машиных - дранкой. А напротив, через дорогу, стояла изба с тесовой крышей. Три окошка на улицу и два сбоку. Это был наш дом. В нем жили я, моя мама, сестренка Нюрка, двое братишек - Мишка и Сергунька.

Колька был белый-белый и чуть-чуть с веснушками. А Шурка - черный, как жук, и совсем без веснушек. Оба они были курносые.

И обоих я любила. Не враз, конечно, а по очереди.

Сначала я любила Кольку. Он был не задира. Пухленький, щеки румяные, а на щеках ямочки.

Мы сидели с ним за одной партой.

Я ему всегда подсказывала, а он угощал меня на уроках вкусными лепешками. Такими вкусными, каких у нас мама отродясь не пекла. Не умела, что ли?

Иногда я прятала лепешку в портфель и приносила маленькому братишке. Он уползал под стол. Ел и даже, как котенок, урчал от удовольствия. Вот какие вкусные были у Кольки лепешки.

У него отец на тракторе работал. И Колька гордился этим. А у нас отец умер. Вернулся с войны весь израненный и все болел и болел. Измучился. И мама с ним измучилась. Часто в город в госпиталь возила его и в нашу больницу (в соседнее село). Но ничего не помогло.

Летом папа у двора потихонечку плотничал или же на завалинке на солнышке сидел, нянчился с Мишкой и Сергунькой. А прошлой зимой умер.

Теперь нянчиться приходится мне. Нюрка помощница плохая.

Вернусь я из школы - она шмыг за дверь, и не жди ее до вечера.

Подруги на санках с горки катаются, а я должна дома сидеть, нянчиться и уроки учить. Поневоле станешь отличницей. Выучишь, что задали на завтра, посидишь-посидишь - выучишь на послезавтра, а потом на послепослезавтра.

Учителя хвалят, а мальчишки издеваются. Они терпеть не

могут отличников. Так и зовут меня зубрилой. Один Колька со мной дружит. И тот иногда косится.

Однажды задали нам на дом трудную задачку. Колька прочитал ее и говорит:

- Такую и папа не решит.

А я шепчу ему:

- Я ее, Кольк, сделала.

Колька надул губы.

- Врешь?

- Нет, Кольк, не вру.

Колька разозлился, перевернул в задачнике две страницы и ткнул пальцем наугад.

- И эту решила?

- И эту...

Колька послюнил палец.

- Я, Кольк, весь задачник перерешала.

- Весь-весь?

- Ага.

Колька вдруг посерьезнел, поглядел на меня удивленно, отодвинулся на самый край парты.

- Зубрила, - прошипел он.

А раньше он меня так никогда не ругал.

Я заплакала. Я часто плакала. Маленькая, хиленькая - чем мне было еще защищаться.

Колька сунул мне в руку большой кусок лепешки. Он знал, что я их до страсти люблю. Сказал:

- На, не реви.

Хороший Колька. И кататься на санках с ним хорошо. Он бесстрашный. С любой горки скатится. Сядет на санки, глаза округлит, зубы сцепит.

Жи-и-и-и! Ветер в ушах свистит. Дух захватывает.

Санки перевернутся, вскочишь, и нисколечко не больно и не страшно. Радостно и весело.

Жаль, что редко мне приходится кататься с Колькой, - с Мишкой и Сергунькой нянчиться надо. Или заглянешь в кадку - воды нет. А вода далеко под горой. Ведра тяжелые. А кадка у нас большущая. "Чалишь, чалишь" эту воду - плечи онемеют.

В воскресенье не учимся. В самый бы раз покататься. Полы грязные-прегрязные. Мыть надо. А кому? Мама на ферме работала. Вставала... Я не знаю, когда мама вставала. Как бы рано я ни проснулась, она уже не спала, печку топила. А вечером приходила с работы усталая. Медленно раздевалась, садилась на лавку, отдыхала. Но только недолго. Сергунька подползет к ней и уцепится за подол, сердится, пищит. А Мишка хоть и постарше

его, а тоже ничего не соображает, заберется на лавку и на руки лезет. Прямо беда с ними. А мама ничего, не обижается, прижмет их к себе, они и рады - улыбаются.

После ужина мы ложились спать, а мама сидела и что-нибудь штопала или шила. Она бережливая. Зря ничего не выбросит. Мои старенькие, коротенькие платья перешивала на Нюрку. Из Нюркиных платьишек шила Сергуньке с Мишкой рубашки. Шила и тихо напевала. И мы под ее ласковый голос быстро засыпали.

Проснешься - в печи дрова потрескивают. Мама картошку чистит. Картошка хрустит под ножом. Утро.

И когда только мама спала? Может, взрослые совсем не спят?

Колька говорит, что его мать тоже встает с петухами, а ложится за полночь.

Колька помогает ей по дому, за скотиной убирает, воду носит. Он сильный.

Вот только заболел он. Ангина. Сколько раз я ему говорила:

- Не ешь, Колька, снег.

А он не слушался, смеялся. Вспотеет, зачерпнет из синего сугроба целые пригоршни - и в рот.

Скучно без него в школе. Сядешь за парту - и поговорить не с кем.

И никто про задачки не спрашивает. И подсказывать некому. И никто рядом носом не шмыгает.

Платок у Кольки был, я знаю, голубенький с рисунком. Но Колька берег его и никогда не вынимал из кармана.

На уроке, когда контрольная, тишь в классе - в ушах звенит. Пошелохнуться боязно. Колька шмыгнет носом, вспугнет тишину, и класс сразу оживет, зашевелится.

Тоскливо без Кольки.

И чернила в его чернильнице высохли. И санки его возле дома у крыльца запорошило снегом.

Шурка с Сенькой каждый день ходили к Кольке, а я стеснялась. С мальчишками и я бы пошла, но они меня не брали. Не любили они меня. Сенька еще ничего, а Шурка... Встретит меня на улице и сразу кулаки сжимает.

Это он за то, что я отличница.

Обидно ему. Учился он плохо. Мать порола его и все мной упрекала.

- Оболтус, - ругала Шурку мать, - вымахал верзила, а ума что у телка! Погляди на Капку - соломинкой перешибешь, а голова - стеклышко светлое. На семерых на вас, дураков, хватит.

Шурка молчал. Он вообще был неразговорчивый.

- Как бык упрямый, - жаловалась на Шурку мать. - Весь в деда. Слезу не выколотишь.

Что верно, то верно. Слез от Шурки не дождешься.

Как-то осенью я сидела на завалинке, грызла семечки. Сторожила Сергуньку. Он рядом в песке играл. Колька с Шуркой около веялки вертелись. Она была прицеплена к трактору. Колькин отец вез ее в поле и заехал пообедать.

Сбоку у веялки зубчатые колесики и большущая ручка.

Колька ручку крутил. Шурка любовался зубчатыми колесиками. Крутятся они, бегут одно по другому, цепляются и бегут. Мягко так, плавно. Бегут и бегут. Веялка решетами стучит. Забавно.

Глядел Шурка, глядел и решил нарушить это слаженное движение. Взял и сунул палец между колесиками.

Хрустнул палец. Остановилась веялка. Колька в обморок упал. У меня в груди захолонуло. А Шурка хоть бы вскрикнул. Глаза вытаращил, посерел весь, зажал палец в кулак другой руки - и в больницу. И ведь не заплакал. Будто каменный. Такому все нипочем. Он ведь тоже ел снег, побольше Колькиного ел, и ничего. А Колька заболел.

Я набралась храбрости и пошла к Кольке. Одна пошла. Это мне наша учительница, Зоя Павловна, велела. Сама-то я бы не осмелилась. Мальчишки дразнить бы стали. А раз Зоя Павловна сказала - они не дразнятся.

Колька лежал как пласт. Руки раскинул. Губы потрескались. Глаза серьезные-серьезные, умные-умные. Глядит на меня и молчит. Я не выдержала и заплакала.

Я принесла ему два оладышка, масляных, горячих. Мама только что испекла. И конфетку в обертке, которую еще от праздника берегла. И все съела сама: Колька отказался. От конфетки отказался... Очень болел Колька.

Я до вечера сидела, но Колька так и не вымолвил ни словечка. Я ему сказки читала. Веселые сказки, а самой хотелось плакать.

Ночью мне приснилось, что Колька умер. Я плакала навзрыд, и мама меня разбудила.

Утром, перед школой, я скорее побежала к Кольке.

Он лежал живой и улыбался.

Через неделю Колька поправился. Не совсем, конечно, на улицу и в школу он еще не ходил. А я бывала у него вместе с Мишкой и Сергунькой. Куда их денешь?

Мишка с Сергунькой по полу ползали, а мы с Колькой читали, писали и задачки решали.

Мать с отцом у Кольки ласковые. Всегда обедать с собой сажали и Сергуньку с Мишкой кормили. Щи у них наваристые, с мясом. Ложку необлизанную положишь на стол, на ней жир

застывает.

А один раз... Колькин отец зачем-то взял мои сапоги, я их все время у порога оставляла в уголке. У них пол теплый, а на полу веселые половики. Повертел Колькин отец мои сапоги, повертел и покачал головой. Я испугалась. Думала, ругаться станет. Под сапогами лужица была. Снег стаял. А он ничего. Поставил мои сапоги обратно в угол и молча вышел. А на другой день он мне подарил новые сапоги. Он их из города привез. Мягкие, маленькие, на резиновой подошве и белые-белые. Таких сапог ни у кого в деревне не было.

- Бери, - говорит, - ты их заработала.

Я прижала новые сапоги к груди и стояла, боясь пошелохнуться.

- Обувай, - тормошил меня Колька. - Не бойся, обувай.

Я не двигалась.

- Это тебе насовсем. Ведь насовсем, пап?

Отец улыбнулся.

- Вот видишь.

Я осторожно поставила сапоги на пол и обулась.

- Не жмут? - спросил Колька.

Я помотала головой.

Ох и счастливая я была в тот день!

Всех своих подруг обегала. Всю деревню из конца в конец прошла. Прошла медленно.

А на другой день в школе мне никак не сиделось на месте. В перемены меня словно вихрем уносило в коридор. Смех из меня так и сыпался. Голова кругом шла. Косички расплетались. От одной косички ленту потеряла. Ну да ладно. У меня другая есть. Что лента?

Вся школа любовалась моими новыми сапогами.

Из школы я не сразу домой пошла. Я немного погуляла.

Дома у нас за столом сидел Колькин отец, дядя Рома.

Одет он был в свою промасленную телогрейку, от которой всегда пахло трактором. Тяжелые грязные руки лежали на коленях.

"За сапогами пришел".

Но дядя Рома только устало взглянул на меня и ничего не сказал. Напротив него, склонив голову, сидел председатель колхоза.

Мама грустная стояла у печки и смущенно разглаживала на груди уголок платка.

Я тоже почему-то так делаю, когда стесняюсь или стыжусь. Я подошла к маме и прижалась к ней.

- Так как же, Иван Кузьмич? - спросил дядя Рома.

- Что как же? - вдруг вспылил председатель.

- Делать что-то надо. Семьища вишь какая.

- Вижу и сам, что надо.

Иван Кузьмич повернулся в нашу сторону:

- А ты, Агриппина, что молчишь? Зарылась в своем телятнике и возишься, как жук. Тишь и благодать. Пришла бы, сказала. Аль забыла: дитя не плачет, мать не разумеет.

- А я николи не плачу, - сердито проговорил с печки Мишка.

Председатель усмехнулся:

- Ишь ты.

Встал, погладил Мишку по голове и вышел.

Ушел за ним и дядя Рома.

- За что они, мам, ругаются?

- Они не ругаются, доченька, не ругаются.

* * *

В субботу мама пришла с работы радостная. Принесла в мешке маленького поросеночка и деньги. Много денег. Это ее на общем колхозном собрании премировали за хорошую работу.

Мы поужинали. Нюрка, Мишка и Сергунька улеглись на печи спать. А мы с мамой сели за стол и стали раскладывать деньги по кучкам.

- Это тебе на осеннее пальто. Старенькое-то совсем пообтерлось, проговорила мама и отодвинула в сторону небольшую кучку. - Это вам с Нюрашкой на ботинки, да смотрите летом не носите их - берегите к осени. Летом в ботинках жарко. Это Нюрашке на школьную форму. Осенью она уже в школу пойдет. Осенью... - Мама задумалась.

- Мам, а чем мы свинушку кормить будем?

- Колхоз молока нам станет давать. К осени она у нас вырастет большая и... - Мама поперхнулась, закашлялась и замолчала.

- И что, мама?

- Пойдем, дочка, спать.

Мама сложила все деньги в одну стопку, завернула их в тряпочку и убрала в сундук.

Я забралась на теплую печку, потеснила Нюрку и легла, но спать мне не хотелось.

В боковое окно, прямо в наше задымленное зеркало, смотрелся мартовский месяц. Где-то на улице тренькала балалайка. Ближе, ближе. И вдруг струны зазвенели совсем близко. Толпа парней выдохнула частушку:

Занавески тонки, редки,

Чернобровую видать.

Молчание. Скрип шагов. Струны балалайки плясали перебор:

Как бы с этой чернобровой

Вечерочек погулять.

И снова скрип шагов, говор, смех.

Прошли. Тишина.

А месяц все смотрелся в зеркало, рябое зеркало.

"Интересно, а я чернобровая или нет?"

На соломенной подстилке в уголке похрюкивал поросенок. Наша будущая большая свинья.

Нюрка во сне с кем-то дралась и толкала меня в бок кулаками.

- Мам. Ма-ма.

- Что, Кап?

- А где поросеночек станет жить?

- До тепла дома побегает, а там соорудим ему во дворе хлевушку и вынесем. До тепла недолго осталось. Спи.

Я закрыла глаза. Скоро тепло.

* * *

Но мама ошиблась. Тепло наступило не скоро. Прошел март. Грачи прилетели, а снег и не думал таять. Окаменел - хоть топором руби. По утрам морозище - зима позавидует. А так хотелось тепла. Поросенок надоел нам. Поначалу с ним было забавно и весело. Мишка с Сергунькой поили его молоком, играли с ним. Таскали его за уши, за хвост, бодались.

Поросенок рос не по дням, а по часам. Первым от него начал спасаться Сергунька. Ходил он на своих кривых ногах еще не совсем уверенно, и поросенка это забавляло. Ему нравилось, как Сергунька шлепался на пол. Шлепнется и на четвереньках удирает, а поросенок прыгает вокруг него, визжит от радости и ковыряет его своим упругим розовым пятачком.

Загонит Сергуньку на лавку, к Мишке начинает приставать. Но Мишку с ног не скоро свалишь. Ему уже четыре года, он здоровый битюг. Все же к концу марта поросенок и Мишку загнал на лавку.

А Нюрка только посмеивалась. Ей хорошо. Сергунька с Мишкой ноги подожмут и смирненько сидят на лавке рядком-ладком. Следить за ними не надо. Однако и Нюрке недолго радоваться пришлось. Поросенок и ее донял. И стал он полновластным хозяином в доме.

Нюрка, Мишка и Сергунька безвылазно сидели на печи.

А весна все не шла и не шла. Видно, заигралась где-то и забыла про нас. "Теперь уж не только мы, вся природа ждет тепла", - говорила мама. А тепло пришло только в середине апреля.

Пришло в ночь, с дождем.

Снег стаял за три дня. В оврагах и долинах заклокотала вода. Ручей наш превратился в бушующую реку.

Нас отпустили на каникулы.

В первые же дни каникул я навела порядок в своем игрушечном "царстве". Оно было за нашим сараем на пустыре, в высоком полынном бурьяне, в заброшенном погребе.

Одна стена погреба обвалилась, а земля с потолка осыпалась. Но это ничего, это даже и лучше. Я разровняла землю, и погреб стал не таким глубоким. Между бревен на потолке светились длинные широкие щели. В них щурилось солнышко, и в погребе было светло и уютно. На дне погреба я постелила старый соломенный мат. И чисто и тепло.

В переднем углу, на трехногой табуретке, стоял начищенный до блеска мой волшебный самовар. Правда, он был без крана. Рядом с ним - кровать для кукол. А дальше вокруг всего погреба шли полочки, на которых были разложены и расставлены все мои богатства. Жестяные баночки, пузырьки, гладкие камешки, картинки, обертки из-под конфет и великое множество черепков фарфоровой посуды.

В глиняные стены погреба я вдавила разноцветные стекляшки и зеркальные осколки. И когда солнышко попадало в погреб, он весь мерцал и искрился. Счастливей меня не было никого на свете.

В "царстве" моем жили только хорошие люди. Дядя Рома, учительница Зоя Павловна, моя мама и, конечно, Колька. Он был у меня самым смелым, самым умным, самым красивым. Он был и шофером, и трактористом, и учителем, и врачом, и даже летчиком. Всем был Колька, потому что так хотелось мне.

Злые и нехорошие люди, попадая в мое "царство", становились добрыми. Плакали и раскаивались в своих поступках.

Шуркин отец, он печник и плотник, несколько раз приходил по моему хотению в мое "царство".

Я посмотрю на него строго-строго, ударю палочкой по волшебному самовару, притопну ногой и говорю:

"Опять, дядя Афанасий, пьешь?"

Он опустит голову.

"Пью".

"Опять весь инструмент свой потерял?"

"Потерял, девочка".

"Опять дома ругался и дрался?"

"Виноват".

"Опять тетя Груня с Зойкой дома не ночевали?"

"Прости Христа ради".

"Мучаешь ты их, дядя Афанасий, и сам мучаешься".

"Ох, девочка".

Упадет дядя Афанасий ко мне в ноги и плачет.

Я наклонюсь к нему и говорю ласково:

"Встань, дядя Афанасий, встань. Я ведь знаю, ты хороший, когда не пьяный. Ты и подтопок у нас бесплатно переложил. Старый-то совсем не грел и угарный был. А сейчас жаркий и не дымит ни капельки. Ты и конфетами меня много раз угощал. Встань, дядя Афанасий, ты ведь не будешь больше пить это гадкое вино".

"Милая Капка, святой крест, не буду. Оно мне всю жизнь испортило".

Раскаявшись, дядя Афанасий уходил, а через несколько дней напивался так, что курицы у него изо рта крошки клевали.

Прямо беда с ним, не знаешь, что и делать. И с Шуркой не знаю, что делать. Шурка чаще всех приходил в мое "царство". Стоял передо мной на коленях, клялся, что будет хорошо учиться и перестанет драться. А встречал меня на улице и снова сжимал кулаки.

И все-таки я верила: раз люди в моем "царстве" становятся хорошими, значит, они могут быть и на самом деле хорошими. Просто они ленятся и не хотят, как Шурка. Мама говорит, что хорошим человеком быть куда тяжелее, чем плохим. Хороший человек всегда отдает что-нибудь людям. А у меня прошлый раз Нюрка попросила красную ленту, а я не отдала ей. Сказала, что самой пригодится. А она мне вовсе и не пригодилась...

После зимы "царство" мое затуманилось, покрылось пылью. Я все перемыла, перечистила и присела на чурбачок отдохнуть.

- Капа! Ка-па!

Это мама звала меня, но я не откликнулась. Я знала, зачем она зовет. В лес за жердушками идти. Поросенку хлев делать.

- Колюшка, не видал Капку?

- Не-е-т. Она, наверно, у ручья. Я сейчас сбегаю.

Я вылезла из погреба, прокралась по бурьяну и вынырнула перед самым Колькиным носом.

Колька от неожиданности прыгнул в сторону.

- Тебя мать ищет.

- Мы в лес пойдем.

- И я с вами. Побегу переобуюсь.

- А мы босиком.

- Ну и я босиком.

Мама с топором и веревкой в руках шла впереди. Мы с Колькой шагали за ней.

На коряжистых ветлах кричали грачи. В воздухе пели

жаворонки. Было тепло, светило яркое солнце. Но земля еще не отогрелась. Подошвы ног стыли, и мы старались идти по колючим, просохшим бугоркам.

Ноги у мамы были в синих прожилках, узловатые и худые. Ступни широкие, большие.

- Они у нее что, болят? - спросил Колька.

Я не ответила. Я и сама не знала, почему у мамы такие некрасивые ноги. Мне было и жалко маму и как-то неловко за нее. Колька подтолкнул меня в бок локтем:

- Спроси.

Я остановила маму, наклонилась к ее ноге и провела пальцем по большому темному узлу.

- Это что у тебя, мам?

- От родов это. Да от тяжелой работы.

Мы с Колькой погрустнели.

Мама подошла к стройной гладкой сосенке, поплевала на руки и с размаху ударила топором под самый корешок золотистого коричневого ствола.

Ук! - вздрогнула парная тишина леса.

Ук! Ук! Ук!

Мама отбросила с головы полушалок.

Ук! Ук! Ук!

Дерево было нетолстое, а мама рубила его долго.

Тупой, зазубренный топор обглодал, измочалил сосенку кругом, а она все стояла. Мама измучилась, швырнула топор в сторону, уперлась в ствол руками, поднатужилась - и дерево, треснув, устало повалилось. На корявом лучинистом пне выступили смолистые капельки слез.

- Ма-ма!..

Из густых зарослей выбежала огромная рыжая собака.

Я подбежала к маме, прижалась к ней. Колька спрятался за меня. Собака затявкала.

На ее лай из лесу вышел лесник Еремей. Тот самый страшный хромой Еремей, которого все мальчишки боялись как огня. Ходили в лес большим табуном. Да и то однажды бежали от Еремея - пятки сверкали. Еремей гнался за ними с длинной сучковатой палкой до самой околицы. Гнался за то, что они подожгли в лесу муравьиную кучу.

За плечами у Еремея висело ружье. То самое ружье, из которого, говорили, он когда-то кого-то застрелил.

Мама подняла топор.

Еремей улыбнулся:

- Полушалок возьми.

Мама подняла полушалок:

- Не подходи! - Сжала губы, побледнела.

- Ну, ну, Агриппина, не балуй.

Еремей посмотрел на уродливый пенек и покачал головой.

- Как кабаны грызли.

Он протянул руку и взял у мамы топор.

- Не трог! - взвизгнула я. - Отдай!

Еремей нахмурился.

Постоял немного, сказал:

- Идемте за мной.

Губы у мамы дрогнули. Она заплакала.

- Еремей Николаич, четверо у меня...

- Знаю. Идем.

Еремей широко зашагал в лес.

Мы с Колькой перепугались.

- Цыц! - прикрикнула на нас мама и резко накинула на голову полушалок. - Идем, душегуб.

Срубленная сосенка, распластав ветви, сиротливо лежала на желтой траве.

Еремей привел нас к своей сторожке. Взошел на расшатанное крыльцо, снял ружье, распахнул дверь, в которую тут же юркнула собака.

- Заходите!

- Нет уж, мы и здесь постоим, - ответила мама. - Пиши свою бумагу.

Еремей сердито бросил в угол наш топор.

- Бумагу... Нет у меня бумаги.

- Нет, - удивилась мама, - а пошто ты нас сюда притащил?

- Поговорить захотелось, Агриппина Васильевна.

- Знаем мы твой разговор. Пиши скорее, а топор верни. Нельзя нам без топора-то.

- Знамо, нельзя. Входите.

Мы боязливо прошли мимо Еремея. В маленькой избе было пустынно. Пахло жареным мясом.

На полу, возле кровати, лежала волчья шкура с когтистыми лапами и оскаленной головой. Над кроватью на березовом сучке сидел с застывшими круглыми глазами филин. У небольшого окна деревянный стол, скамья. На краю скамьи цинковое ведро с водой. В воде ковш. Под самым потолком электрическая лампочка. На кровати полосатый матрац, скомканная цветастая подушка, серое байковое одеяло и овчинный тулуп. Под кроватью, на соломенной подстилке, лежала собака.

Как только мы переступили порог, она заурчала.

- Цыган! - строго прикрикнул на нее Еремей.

Собака покорно положила голову на солому, приветливо

замахала хвостом.

- Присаживайтесь.

- Мы так. Мы привычные.

- Что, боитесь? Еремея все боятся. Еремея никто и за человека-то не считает.

Мама в страхе присела на уголок скамьи.

- Дык, Еремей Николаич...

- Душегуб. Поперек горла у всей деревни стал. Изверг. Лес не дает губить... И не дам! И на тебя акт писать буду.

Мама глубоко вздохнула:

- Пиши. Чем платить-то я стану? Ребятишками?

- Вижу.

Еремей вышел, размашисто хлопнул дверью. В окнах звякнули стекла.

- Одичал, сердешный, совсем одичал, - жалостливо проговорила мама.

Еремей вернулся, поставил на стол нарядную деревянную чашку с душистым крупитчатым медом. Достал с полки каравай белого хлеба, нарезал толстыми ломтями.

- Ешьте.

Мама спросила:

- Ты что, всех, кого изловишь в лесу, спервоначала медом кормишь?

- Как же. Держи карман шире. Я бы и вас оштрафовал и в три шеи выгнал бы из леса. Да вот закавыка вышла... Топор твой мне всю душу разворошил. С таким топором в лес идет только горе-горемычное!..

Мама застеснялась, спрятала под лавку ноги.

Еремей снова вышел. Дверью не хлопнул, прикрыл ее осторожно и плотно.

Мы сидели не шелохнувшись. На мед старались не глядеть. Разве что украдкой.

Под нарами во сне взвизгнула собака. Открыла один глаз, посмотрела на нас равнодушно и опять закрыла.

Еремей не возвращался.

Я положила на стол руку и невзначай взяла ложку. Испугалась. Посмотрела на маму. Мама молчала.

Крупитчатый мед очень вкусный.

Когда Еремей вернулся в избу, нарядная чашка была пуста. Мы с Колькой облизывали ложки.

Еремей снял шапку, бросил ее на кровать, вытер ладонью потный лоб, отрывисто сказал:

- Пошли.

У крыльца стояла запряженная в рыдван лошадь. На рыдване

- короткие сухие сосновые жерди.

Еремей взял вожжи.

- Ну, милая, трогай!

- Мама, а топор-то?

- Тут он, под дровами, - ответил Еремей. - Ну, шевелись!

Сытая, гладкая лошадь шагала ходко. Воз на ухабах ворочался, поскрипывал. Мы с Колькой впритруску бежали стороной. Мама задумчиво шла рядом с Еремеем.

- Ну, милая, ну! - покрикивал изредка Еремей.

Мама кашлянула, проговорила:

- Чудной ты, Еремей.

Еремей не ответил.

- Своих жердей тебе не жаль, а в лесу палку боже упаси тронуть.

- Лес не мой. Государственный.

- А мы-то чьи?

- Тоже государственные.

- Ну так и вот.

- Вот-то, Агриппина, вот, да и не совсем вот. К примеру, на твой усад зайдет твоя же свинья, каково ты на это посмотришь? Погонишь небось?

- Погоню.

- А зачем? Картошку-то ты для нее же растишь.

- Так она ж попортит все.

- Вот потому и я стерегу лес. Ну, милая, тяни!

Меж деревьев мелькнула светлая опушка.

Мы с Колькой, обрадованные, побежали вперед. Нам поскорее хотелось погреть на солнышке озябшие ноги да и подальше уйти от Еремея.

Его громоздкая фигура, тяжелые шаги и всегда угрюмое волосатое лицо пугали нас.

- Он медведя верняком поборет, - тревожно оглядываясь назад, шептал Колька. - И трактор, пожалуй, остановит.

На опушке Еремей передал вожжи маме.

- Дальше, Агриппина, я не ходок. Не примает меня ваша деревня.

- Она и твоя также.

- Моя... Не знаю... Всю жизнь я в ней чужой. Ну, да ладно. Бог нас рассудит.

Еремей вынул из воза лопату.

- Лошадь пусть мальцы пригонят. Я их тут подожду на опушке.

Еремей вскинул лопату на плечо и пошел к лесу.

Лошадь, повернув голову, проводила его большим черным

глазом, беспокойно заржала.

- Ну, милая! - по-еремеевски крикнула мама, дергая вожжи.

Обратно мы ехали вдвоем с Колькой. Еремея на опушке не оказалось. Мы покричали. Никого. Колька спрыгнул с рыдвана и обмотал вожжами дерево.

- Никуда не уйдет. Бежим.

- Нет, Кольк, так нельзя. А вдруг ее волки съедят. Что тогда? Давай в лес зайдем, посмотрим.

Колька мялся. Я видела, что ему не хочется в лес. Мне и самой не хотелось, но идти надо было.

Я взяла Кольку за руку.

- Идем.

- Только недалеко.

- Ага.

Под Колькиной ногой треснул сучок. Мы вздрогнули и затаились.

"Тук, тук, тук!" - вдруг донеслось до нас.

- Это, Кольк, дятел. Не бойся.

- Смотри-ко, - шепнул Колька.

Я приподнялась на цыпочки. Рядом с лучинистым пеньком, где мама срубила дерево, Еремей сажал новую маленькую сосенку. Мы с Колькой удивленно переглянулись. Еремей утоптал под сосенкой землю и, не поднимая головы, вдруг спросил:

- Лошадь пригнали?

Под нашими ногами зашуршали сухие листья, затрещали ветки...

Дома я спросила маму:

- Мам, а за что Еремея не любят?

- Старостой он при немцах был.

- И людей убивал?

- Отступись! Вишь, мне некогда. На вот постирай, а я пока поросенка накормлю.

Я засучила рукава, встала к корыту. Я любила стирать.

Взбитая в корыте мыльная пена, словно живая, дышит и колышется.

Руки после стирки мягкие, чистые. Ни единого чернильного пятнышка.

- Мам, расскажи про войну и про папу что-нибудь, расскажи и про Еремея.

- Вот дался ей Еремей.

- Он, мам, где ты срубила сосенку, посадил другую.

- Эко дело... - Мама хотела что-то еще сказать, но передумала, спросила: - Сосенку, говоришь?

- Мы с Колькой видали.

Мама задумалась.

* * *

Вечером мы с мамой перебирали мелкий колхозный лук-севок. Его каждый год осенью развозят по домам в корзинках на хранение.

Нюрка, Мишка и Сергунька лежали на печи. Нюрка вслух по складам читала сказки. Мама тихо говорила:

- Поженились мы с отцом как раз в канун войны. Весной поженились, а летом война началась.

- А сколько, мам, тебе годов было?

- Много, дочка. Поздно мы с отцом поженились. Отец-то в парнях непутевый был. Все где-то на чужой стороне по стройкам мотался. А я ждала.

- А ты бы, мам, взяла да и вышла за кого-нибудь за другого.

- А за кого? Парней у нас в деревне в ту пору было раз-два и обчелся. Они тогда все как белены объелись. Все по городам разбежались. Один Митяй сопливый остался, а девок табуны. А я не ахти какая красавица была. Получше меня и то в перестарках ходили.

- Мам, а раньше, раньше, когда ты совсем маленькой была, что было?

- Тогда тоже война была, и тоже с Германией. Голод.

Мама помолчала, поправила на голове пучок.

- Семья у нас была большущая. Отца на войну угнали. Ни обуть, ни одеть. А тут еще беда. Отец с фронта убежал. Дезертировал. Как сейчас, вижу его. Вошел он в избу оборванный, бородатый, грязный и с винтовкой. Мы перепугались и - кто куда. Я под лавку забралась, выглядываю оттуда, как собачонка. Отец поставил винтовку, перекрестился на образа и выругался. Потом он все в лесу скрывался, а как ударили холода - домой пришел. Тут его и взяли. Понаехали стражники и нас всех вместе с ним увезли. Куда нас возили, не припомню. Помню только, что на другой день мы приехали обратно, а отца опять на фронт угнали. Так он и загиб там. От тифа умер. Сосед наш, Федор, сказывал. Они вместе служили. Письмо он нам привез. Да что толку-то в письме! Слезы одни. А тут вскорости революция началась. Барскую землю кинулись делить. Не успели поделить - ночью пожар занялся. Такой пожар не приведи господи!.. - Мама вздохнула. - Вспоминать страшно. От самой Анисьиной избы до нижнего конца весь верхний порядок как корова языком слизнула. Мы остались в чем мать родила. Воды не из чего напиться. Мы с Клавдией, самые меньшие, по миру пошли... Поначалу стыдно было. Потом обвыкли. Много в то время наших по деревням под окошками горе распевали. Вставали ни свет ни

заря, как на сенокос, чтобы первыми похристарадничать.

- А жили вы, мам, где?

- Известно, в мазанке. Наколотили нар в два яруса - слезы. Хорошо, что революция. Помещичий лес порубили и помаленьку отстраиваться начали. Только отстроились, опять пожар. Это уж когда богатых мужиков - кулаков зорить стали. Они и подожгли в отместку. Мы снова без крыши остались. Но на этот раз счастье нас не обошло. Сельсовет выделил нам кулацкий дом со всей утварью. Дом - хоромина. Самого богатого мужика Николая Проклова.

- Еремеев дом?! - Я застыла в изумлении.

Мама улыбнулась и спокойно продолжала:

- Еремей тогда в парнях ходил. Жениться как раз собирался. А женитьбы-то и не получилось. Отца его раскулачили и в Сибирь сослали. А Серафима, мать-то Еремея, тут возле нас в пристроечке жила. Недолго, верно. Умерла вскорости в одночасье.

- От горя?

- Знамо, от горя. Еремей возвратился в деревню незадолго перед войной. Дикий, нелюдимый. Пройдет, бывало, и головы не подымет. Мы в ту пору в их дому уже не жили. Колхоз нам новую избу срубил. А в еремеевском - правление было. Еремей перестроил баню под горой и жил в ней.

Мама умолкла. В ее торопливых руках шеберстел сухой лук. Мишка с Сергунькой спали. Нюрка продолжала читать:

- "С-ска-за-л царь на-ро-ду: бу-де-те жи-ть хо-ро-шо. И о-пя-ть об-ма-нул ца-рь на-ро-д. И..."

По деревне прогромыхала телега. Нюрка захлопнула книгу, повернулась легла на живот. Я тронула маму за рукав:

- Мам, рассказывай.

- Дальше, дочка, война началась. В июне отца на фронт забрали, а по осени в нашей деревне немцы хозяйничали.

- Ох, наверно, и страшно было?

- Чего?

- Когда война-то в нашей деревне была.

- Глупенькая. Никакой войны в нашей деревне не было.

Я озадаченно посмотрела на маму. Как же?

- Стреляли где-то в стороне. Глухо этак. Мы тоже ждали невесть чего. В погреба попрятались. Посидели, посидели да и вылезли. Глядим, едут на мотоциклах. Думали, наши. За околицу выбежали, а это немцы. Мы обратно. Визг, переполох.

- А немцы, мам?

- Немцы у колодца остановились. Полопотали что-то и уехали.

- И никого не убили?

- Не, это опосля, когда другие приехали, они лютовали, порядки свои устанавливали. Коммунистов все выискивали.

- И нашли?

- А чего их искать-то? Все мы тогда коммунистами были. Схватили деда Василия и повесили.

- Его выдали?

Нет, он сам сказал, что он партийный. А сам и в партии-то никогда не состоял.

- Чегой-то он, мам?

- А чтоб нас в покое оставили.

Мама взялась за край корзинки, встряхнула ее.

- Давай, Капа, спать. Луку много, а завтра вставать рано.

- Много?! - Я заглянула в корзину. - Нет, мам, совсем немного.

Я хитрила. Луку в корзине было полно, но мне хотелось дослушать до конца.

- Еще полчасика, мам. Ты о Еремее не сказала.

- Когда немцы пришли, он так в бане и жил. Немцы к нему: "Старостой будешь!" А он поглядел на них так это исподлобья и говорит: "Думаете, я Советской властью обижен, так и Родину продавать буду?" Да как плюнет одному в лицо.

Мама помолчала, раздавила жухлую луковицу, отбросила ее к порогу, сказала:

- Совсем сгнила.

- Мам, а потом что?

- Били его. Били нещадно. Живого места не оставили. Кусок мяса бросили в канаву. Мы думали - все, покойником станет. А он живучий. Отудобел. Ночью к себе в баню уполз. Через месяц ходить помаленьку начал. К этому времени кое-кто из наших мужиков, кто в окружение попал, в деревню возвернулся. Оружие попрятали, переоделись. У Еремея тоже объявился человек. Не наш деревенский. Чужой. Потом чужак пропал. И наши мужики пропали. Мальчишки-подростки тоже как в воду канули. Мы догадались: в лес ушли партизанить.

- И Еремей?

- Нет, Еремей, как оправился малость, в соседнее село к немцам в полицейский участок ходил. Видно, с повинной, потому как объявился облеченный властью. В свой дом перешел. Мы так и ахнули. Ну, бабоньки, рассуждали меж собой, отомстит он нам за раскулачивание. Да нет, бог миловал. Не обижал он нас. Грешно пожаловаться. И немцы при нем спокойные были. Приедут, Еремей накачает их самогонкой и обратно отвезет. И удивительней всего нам было: сам он ни капельки не пил, все

дров запасал. Каждую неделю в лес ездил. А иногда на неделе по два раза. И хоть бы дров-то путных. Навалил коряг вокруг дома - ни проехать, ни пройти. Немцы и те чертыхались.

Мама встала и ушла на кухню. Задвинула в печь чугун с водой, посмотрела в окно.

- Темень-то - хоть глаза коли.

Постояла, глубоко вздохнула.

- И тогда вот такая же ночь была. Под утро их привезли, раненых. Пять человек, и чужак с ними. Сказывали, весь отряд вырезали.

- Их Еремей, мам, предал?

- Полицаи говорили, Еремей.

Мы помолчали.

- Поначалу и мы им поверили. А опосля, когда полицаи начали расспрашивать о нем, искать его, мы поняли - врут. Иначе зачем им было разыскивать Еремея и возле его дома слежку устраивать.

Мама поднялась, вытряхнула из корзинки луковую шелуху в угол, разобрала постель.

Я попросила:

- Мам, можно, я с тобой лягу?

- Ложись. Наговорила я тебе...

Мама выключила свет, легла.

- Какие у тебя руки-то холодные. Озябла?

- Нет.

Мама обняла меня, прижала к себе.

- Спи.

Тепло с мамой, уютно. Я поджала ноги и зарылась носом в мамино плечо.

Мимо дома кто-то устало прошаркал сапогами.

- Бон уж Дуняшка доить коров на ферму пошла.

Мама легла поудобнее.

- Рассвет скоро.

Где-то зазвенело железо. Мама пояснила:

- Митяй машину заводит. Бабы в город собрались с молоком.

В окна на миг ударил яркий зеленоватый свет. Я близко-близко увидела мамино лицо: заостренный нос, на щеке родинка с черным волоском, у глаз морщинки.

Милая моя мама.

На улице зашумел ветер. По стеклам зашелестел дождь.

- Мам, а из партизанского отряда никого не осталось?

- Остались. Вон Афанасий, а может, и еще кто.

- Шуркин отец?

- Он.

Мама потеплее укрыла меня одеялом.

- Ты не думай об этом. Спи.

Мы долго лежали в тишине.

- Мам...

Мама не отозвалась.

- Ты спишь?

- Сплю, Капа.

- А Еремей?

- Что Еремей? Он воевал. Говорят, до Берлина дошел. И в деревню, возможно, не заявился бы. Ничто его здесь не привязывало. Да, вишь ли, раненый он был. Грудь у него была прострелена, легкие задело, и доктора, сказывают, посоветовали ему пожить у нас в лесу, на воздухе. Вот он и устроился лесником, да так и осел. Все-таки родное место-то.

- За что же, мам, его не любят?

- Норов у него, дочка, крут. Сама знаешь: лес каждому в деревне нужен и сено тоже, а к нему не подступишься ни с чем. Камень, не человек. Вот его и не любят. Боятся его, злобствуют. Мама сердито отвернулась от меня. - Спи. Да завтра никуда не убегай. Хлев будем поросенку делать. А то он носится по двору, не растет ничего.

* * *

Хлев...

Намаялись мы с мамой из-за него, наплакались. Собрались делать гвоздей нет. Я побежала в магазин, полный подол накупила. Думала, что на три хлева хватит, а мы и один-то едва сколотили. Тихо стукнешь по гвоздю не лезет. Посильнее стукнешь - гнется. Все руки в кровь избили.

Два дня мучились.

В одну сучковатую жердь восемь гвоздей заколотили да так и отбросили в сторону.

Вот если бы доски... Но где их возьмешь, а к председателю обращаться со всякой мелочью неудобно. Жерди круглые - вертятся, и толстые. Пока заколачиваешь в них гвоздь, он или в сторону лезет, или набок шляпку своротит.

Я Кольку позвала.

- Все мужик, - сказала мама.

Колька взялся за дело с охотой. Один гвоздь забил и загордился, заговорил важно, по-отцовски:

- Мы это сичас, мы это мигом.

Прицелился. Хрясь. Взвизгнул, подпрыгнул чуть не до сеновала - и со двора.

- Колька! - закричала я. - Колька! Молоток-то.

Он так и умчался с молотком. Я хотела его догнать, но куда

там. Его и на машине не догонишь.

Мы с мамой достроили, кое-как приколотили последнюю верхнюю жердь, устлали хлев соломой и затащили в него поросенка.

Он обошел хлев, обнюхал и остался доволен. Задрал к нам пятачок, захрюкал. Мама приласкала его, погладила по спине, похлопала по трясущейся шее.

- Тебе тут будет хорошо. Теперь ты, слава богу, на месте.

Поросенок прижался боком к шершавым жердям, начал чесаться, хлев заскрипел.

- Но, но, не хулигань. - Мама оттолкнула его.

Поросенку это не понравилось. Он замотал головой, прыгнул к другой стене хлева, с разбегу ударился об нее боком и кувырком вылетел во двор. Вскочил, очумело замер. Глупо заморгал белыми ресницами. Потом увидал, что он на свободе, взлягнул задними ногами, хрюкнул и озорно завертелся.

- Экий дворец отгрохали, - раздраженно проговорила мама, - такую зверюгу не смог удержать. - Отвернулась и пошла в избу.

Я понуро поплелась за ней, я не глядела на маму. Мне было и горько и стыдно, мама тоже старалась отводить от меня глаза. Мы ведь и раньше понимали, что наше строение держится на честном слове, но боязливо молчали об этом, не хотели друг друга расстраивать, надеялись на какое-то чудо, а чудо рухнуло. Надо все начинать сначала.

И чтобы как-то утешить маму, я робко сказала:

- Мам, я завтра других гвоздей куплю, получше.

Мама ласково взъерошила мои волосы, но вдруг рука ее застыла.

- Пожар! Горит! Пожар! - донеслось с улицы.

Мы опрометью выскочили на крыльцо.

На задворках Шуркиного дома горел сарай. Из-под соломенной крыши выкатывались тяжелые валуны дыма.

- Пожар! Пожар!

Тревожно гудел набат. Гудел не только в нашей деревне, но и во всех соседних деревнях.

Мама метнулась в сени, схватила ведро с водой и побежала к Шуркиному дому. Мне крикнула:

- Будь около избы!

Ведро в ее руках раскачивалось, ударялось о ногу, вода выплескивалась.

- Горит! Горит! - восторженно кричали мальчишки, пробегая улицей.

Дым над сараем утих, побелел. Над углом появилось маленькое пламя огня. Потекло, потекло по соломенной крыше и

вдруг взметнулось к небу огромным красным языком.

Толпа вокруг сарая охнула и попятилась.

- Доченька, родненькая, - заголосила наша соседка старуха Настасья. Гроб у меня на подвалке, сгорит.

- Какой гроб?!

- Мой, милая! Мой! Чей же еще-то. Пособи-ка.

Дом у Настасьи был без сеней и без двора. В бревнах задней стены торчали железные скобы - лестница. Чтобы успокоить старуху, я проворно вскарабкалась на чердак. Спотыкаясь о всякий хлам, пробралась к слуховому окну.

Шуркин сарай догорал. Вернее, уже не горел, а только дымил. Мужики растащили его баграми. Народ расходился.

Я разочарованно отвернулась от окна и... обмерла.

Крышка гроба, который стоял рядом со мной, приподнялась, и из-под нее высунулась всклокоченная черная голова.

Я вскрикнула, споткнулась и упала. Хотела завизжать, но так и осталась с открытым ртом.

Передо мной стоял Шурка.

- Тише, не бойся, - шепнул он.

Я покосилась на открытый пустой гроб.

- Это я там был.

- Зачем?

Шурка помолчал.

Я поняла его.

- Это ты спалил сарай-то?

- Тс-с-с. Мы с Колькой.

- Ох, Шурка, и влетит вам!..

- Не узнают.

- Узнают, Шурк.

- А я не пойду домой.

- Никогда?

Шурка насупился.

- Может, и никогда.

- Ой, Шурка, а что ж есть будешь?

Шурка молчал.

- Ты знаешь, Шурк, никуда отсюда не уходи до вечера. Жди меня. Я тебе еды принесу и перепрячу в другое место.

- Куда?

- Я скажу куда. Там тебя никто-никто не найдет. Пусть хоть сто годов ищут, все равно не найдут.

- Только не обманывай.

Я хотела обидеться на Шурку, но меня кликнула мама, и я быстрее спустилась вниз.

Мама поджидала меня. На пожаре она встретилась с

бригадиром, и он сказал ей, что завтра на ферму приедет какая-то врачебная комиссия. Надо подготовиться, поскрести у телят в хлевах и немного почистить их самих.

- Одной мне, дочка, не управиться.

- Я помогу, мам.

- Замучила я тебя. Но ты видишь, мне и самой не легко.

Эх, мама... Могла бы и не говорить это. Что я, маленькая, что ли? Сама же говорила... Хотя нет. Мама скажет то так, то этак. Не поймешь. Иногда говорит, что большая, иногда - что маленькая. Хитрит она.

Из-за огородного плетня вывернулась Зойка, младшая Шуркина сестренка, и поманила меня пальцем.

- Шурку не видала? - захлебываясь, спросила она.

- А что?

- Как что? Это они спалили. - Зойка кивнула головой в сторону своего сарая. - Я везде обегала и нигде не нашла его.

- Зачем он тебе?

- Сказать, чтобы домой и носа не показывал сегодня. Отец как тигр. Разорвет его на части. Всю шкуру, говорит, с него, подлеца, спущу. Мне и то попало. Видишь?

Зойка задрала рукав платья. На ее плече темнел багровый рубец.

- А тебя-то за что?

- Наперед, говорит...

- Может, ты ничего и не сделаешь.

- Нет, Капа, сделаю. Чувствую, что сделаю. Вот прямо не могу, во мне что-то так и ходит, так и бродит. Мама говорит, что это у нас кровь такая шалая. - Зойка огляделась и потянула меня за угол плетня. - Я уж сделала. Тарелку разбила. Мама пока не знает. Помнишь, ту, с золотой каемочкой?

- С виноградом?

- Я давно ждала, что она разобьется. Я чувствовала, что она разобьется. Я все до единого осколочка подобрала и спрятала. Красивые. Хочешь, я поделюсь с тобой?

- Нет, Зойк, не надо.

Зойка бы и еще поболтала, но мне некогда было ее слушать, я отвернулась и побежала домой. Бежала и с затаенной радостью смотрела на чердачное окно Настасьиного дома.

Жди, Шурка. Жди.

Мама сидела за столом. Мы пообедали. От похлебки я отказалась, картофельника немного поела.

Я не солощая на еду. Мама ругается, а иногда подшучивает надо мной. Говорит, что я ем ровно столько, сколько надо, чтобы не умереть. Неправда. Когда мы играем в догонялышки или в

"третий лишний", за мной никто не может угнаться. И в работе я шустрая. Мне легко.

Пока мама убирала со стола и мыла посуду, я и в комнате и в сенях подмела.

Прибежала Нюрка, дверь настежь распахнула:

- Капа!

И села на приступки.

- Ты знаешь... У Настасьи на чердаке кто-то есть. Иду я, гляжу, а оттуда кто-то выглядывает. Черный, лохматый.

- Тише, тише, Нюрк. - Я подсела к ней и нарочно тревожно шепнула: Там гроб.

Нюрка выпучила глаза.

- И покойник в нем водится?!

- Водится. Страшный, волосы длинные. Зубы большущие.

Я изо всех сил старалась напугать Нюрку, чтоб она не вздумала лезть на чердак, а Нюрка радостно сказала:

- Ой, Капа! Пойдем поглядим.

Напугала!

Теперь от нее не отвяжешься. И дома оставлять нельзя. Всех девчонок приведет к Настасьиной избе на покойника смотреть. Пришлось мне уговаривать маму взять и Нюрку с собой на ферму. Нюрка захныкала.

- Ничего, доченька, ты уж большая. Пора к работе привыкать.

Но Нюрке к работе привыкать вовсе не хотелось. Когда мы пришли в телятник и она узнала, что ей придется вычистить три хлева, она заявила мне:

- Если ты не поможешь мне, я скажу маме, что у тебя есть покойник.

- Я тебе скажу! Я тебе, Нюрк, не знаю что сделаю.

- Все равно скажу.

Я треснула Нюрку по затылку.

Она отбежала от меня и вполголоса вымогательски затянула:

- Мама. А... у... Капки... есть... Будешь за меня чистить?

- Нюрка, - взмолилась я, - у меня у самой хлевов целый порядок. А у тебя только три, да и то малюсенькие и почти что чистые.

- Будешь? - угрожающе повторила Нюрка и громко произнесла: - Мама!

- Буду, Нюра, буду...

- И покойника покажешь?

- Покажу, Нюр, покажу.

А про себя подумала: жди. Вот перепрячу Шурку и такого покойника покажу, сама покойником будешь, "Брила" (так Нюрку дразнили за толстые губы). И Шурка тоже... Набедокурил, так уж

и сидел бы смирно, а то выглядывает.

Вычистив один хлев, я окинула взглядом телятник и поняла, что со своим и Нюркиным заданием мне не управиться до самой темноты.

- Мам, уж очень много на сегодня.

Мама оперлась на вилы, подумала и убавила мое задание на два хлева.

Хорошая у меня мама. Справедливая. И работаем мы с ней всегда по заданию. Сами себе даем задание. Так интереснее. Где поторопишься, где отдохнешь. А без задания работается как-то не весело. Сколько ни делай ни конца работе, ни края не видать. И тянешь время. От завтрака до обеда, от обеда до ужина.

Как только я вычистила три хлева, Нюрка запрыгала от радости.

- Мам, мам! Я все. Можно мне домой идти?

Я остолбенела. У меня язык отнялся.

Ох уж эта лентяйка Нюрка! Ни стыда у нее нет, ни совести. Я, когда была такая, как она, не ленилась. Я и полы мыла, и маме помогала, и за водой ходила, и за папой ухаживала. А она... Большая уж, ростом меня догоняет, осенью в школу пойдет, а лодырь лодырем. С Сергунькой, ежели он прихворнет, и то не хочет понянчиться.

- Мам!

- Слышу, слышу.

- Я закончила.

- Закончила? Капе помоги.

У меня отлегло от сердца.

Я поймала Нюрку за руку, втащила в хлев, прижала в угол. Нюрка оторопела. Она не ожидала от меня такой ярости и не проронила ни слова, даже когда я легонько стукнула ее спиной о стену.

Через несколько минут я раскаивалась в своем поступке.

Нюрка старательно чистила хлев и боязливо поглядывала в мою сторону. Черен лопаты в ее руках оказался непомерно большим, толстым и длинным. Под ее блеклым, бывшим моим, платьицем двигались худые, острые лопатки.

Зачем я ее обидела? Маленькая она еще, глупенькая. И из-за кого? Из-за Шурки. Побоялась, что она найдет его на чердаке и его выпорют. Ну и что? Так ему и надо.

- Иди, Нюр, домой.

Сказала и замерла в тревоге.

Вспомнила Зойку, багровый рубец на ее плече. Мрачный чердак, гроб.

Сидит Шурка в темном углу и вздрагивает от каждого

шороха. Голодный. Меня поджидает, надеется на меня. А на улице уже темнеет.

Мама прошла пролетом, включила свет.

Шурка хоть и не пугливый, а все же страшно. Мало ли, что гроб пустой.

- Ты не пойдешь, Нюр, домой? Правда? Чего там одной делать-то? (Нюрка молчала.)

Вот доделаем, и все вместе пойдем.

Нюрка ни звука.

- Нюр, а хочешь, я тебе подарю ту желтую ленту?

Нюрка обернулась:

- Я красную просила.

- Желтая, Нюр, почти что совсем новая. А красная что? Красная стираная.

- Мне красную надо.

- Ладно, я тебе и от красной кусочек отрежу.

- Мне всю надо.

- Куда тебе, Нюр, всю. Вся она длинная. - Я поставила лопату и развела руки. - Во какая.

Нюрка отвернулась.

Пришлось пообещать ей всю ленту, но с возвратом. Нюрка заулыбалась.

И я улыбнулась. А на душе у меня было не до радости. Жалко мне было красной ленты. А по Нюркиной улыбке я поняла, что придется проститься с лентой на веки вечные. И я решила схитрить. Я придумала игру. Разделила хлев на две равные части, сказала:

- Маленькая часть, Нюр, твоя. Большая - моя. Если ты вычистишь быстрее меня, то половина красной ленты твоя насовсем, а ежели я быстрее то моя. Потом перейдем в другой хлев. Если ты меня и там обгонишь, то вся лента твоя насовсем.

Нюрка согласилась.

И не удивительно. Она явно видела свое превосходство. Завлекая ее в игру, я умышленно взялась чистить весь хлев, а ей оставила небольшой уголок.

Нюрка, понятно, меня опередила. Обрадованная, она вытирала рукавом вспотевшее лицо, смеялась надо мной и даже покровительственно помогала мне.

В другом хлеву работы у Нюрки прибавилось. Но она не обратила на это внимания.

И я не стала ее опережать. Уж очень она старательно работала. Уж очень ей хотелось быть первой. На мое предложение отдохнуть она только недовольно хмыкнула: отдыхай, мол.

Я улыбнулась. С Нюркиного носа падали капельки пота.

Закончили мы уборку второго и третьего хлева вместе.

Запыхавшаяся Нюрка недоуменно посмотрела на меня. В ее взгляде были и тревога, и удивление, и досада.

Я поспешила успокоить сестру. Расхвалила ее на все лады. Сказала, что она молодец из молодцов, что она куда лучше меня: и быстрее и чище.

- Просто, Нюр, тебе участок попался такой уж грязный. Но ты не расстраивайся, в другом хлеву ты меня обязательно обгонишь.

Я сняла с головы косынку и заботливо обтерла Нюркино лицо.

- Разрумянилась ты, Нюр, красивая стала.

Нюрка покраснела еще больше. И, не зная, как выразить свою радость, она подошла к следующему хлеву, вошла в него, разделила на две равные части и, не дожидаясь меня, усердно принялась работать.

Это был последний хлев нашего задания.

Я помедлила. Сходила к маме. Дала возможность Нюрке немного опередить меня. Я ей хотела доставить радость. Но каково же было мое изумление, когда я вернулась.

Нюрка чистила и свою и мою половину хлева.

Я спросила ее, зачем она это делает. Нюрка сердито ответила:

- А зачем ты ушла? Я ведь не глупая.

- Ну, Нюрка, тогда держись.

Плохо мы вычистили этот хлев. Грязно. Торопились обе изо всех сил. Запарились. Не до хорошего уж.

Из телятника мы вышли поздно, в сумерки.

На телеграфном столбе, освещая загон, где похрустывали жвачкой телята, горела лампочка. На завалинке сторожки курил сторож Ефим. У конного двора кто-то распрягал серую лошадь. О влажную землю мягко стукнулась оглобля. Освобожденная лошадь фыркнула, сбрасывая дневную усталость, шумно встряхнулась всем телом. По настилу двора зацокали копыта. Глуше, глуше. Стихли.

У кузницы, мимо которой мы проходили, рядами стояли пахнущие весной, дегтем и краской плуги, бороны, сеялки. Из свинарника доносилось повизгивание поросят и добродушное хрюканье старой свиньи.

Над деревней галдели грачи. Заиграла гармонь и смолкла... Весна.

Чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее я волновалась.

Шурка... Он, наверное, меня заждался. А может, уже сбежал? Нет. Куда он сбежит? Некуда ему бежать. И кроме меня, ему никто не поможет. Бедный Шурка, один на темном чердаке.

Но тут я вспомнила, как однажды Шурка во время игры в

школе будто невзначай - а я знаю, умышленно - расшиб мне нос. Я стояла тогда у стены и плакала. Плакала не от боли, а от обиды, от того, что все продолжали игру и никто не обратил на меня никакого внимания. Никто не заступился за меня.

Вспомнив это, я попробовала рассердиться на Шурку, но не смогла. Жалела его еще больше и хотела ему помочь.

За ужином я все оборачивалась к окну будто бы поглядеть на улицу, а на самом деле прятала за занавеску то соленый огурец, то кусок картофельника, то горбушку хлеба.

Чай... Но зачем он Шурке? Я его и то не пила. А сахар...

Я незаметно сунула за пазуху четыре куска.

Шурка ел торопливо, с жадностью. Наголодался. Соленые огурцы сочно хрустели на его зубах. От света лампадки, которую я принесла потихоньку из дому, "царство" мое - погребок мой - все сверкало и переливалось.

Я сидела на чурбачке в углу и молча наблюдала за Шуркой. Он полулежал на соломенном мате, а перед ним на дощечке хлеб, картошка, огурцы и сахар.

Лицо у Шурки худое и смуглое. На лбу, с правой стороны, шрам - память о "былых сражениях". Шурка любил им хвастаться.

В прошлом году он дрался с вередеевскими ребятами, и кто-то стукнул его железиной. В больницу его возили. Милиционер к нему приходил. Шурка сказал, что с лошади упал. Не выдал вередеевских мальчишек.

Рот у Шурки небольшой, а губы толстые, будто чуть вывернутые наизнанку. Волосы черные и кудрявые - в маленьких завитушках, как у молодого ягненка.

Красивый Шурка.

Отчаянный, ловкий, как обезьяна. Но в деревне никто из девчонок его не любил. Боялись. Зато мальчишки любили его все, и маленькие и большие. Завидовали его храбрости, подражали ему.

Когда Шурка научился свистеть по-соловьиному, то в деревне чуть ли не в каждом доме завелся свой соловей-разбойник, прямо хоть уши затыкай.

Сам-то Шурка высвистывал - заслушаешься. Талант у него на это был. Он и на гармони, и на гитаре, и на балалайке умел играть. Да как еще умел! Если играл танцы, ноги так и зудели. А частушки заведет, "мордовочку" с перебоями, - гармонь захлебывается от радости. Сама поет и приплясывает.

Непонятно, почему Шурка учился так плохо. Он был на год старше меня, но в четвертом классе я его догнала. Из пятого он еле-еле выкарабкался, в шестом оставался на осень и в этом году чуть тянет.

И хоть бы он книжки не любил. Любил он книжки. И читал много. Мы с ним часто в библиотеке встречались. Он по целому портфелю книжек набирал. Прочитывал и самые интересные мальчишкам пересказывал.

В библиотеке нам обычно выдавали книжки по возрасту. Шурку это унижало. И правильно. Мне тоже было обидно. Нас считали маленькими. Я замечала, что Шурка с завистью посматривает на громадный зеленый шкаф, за стеклянными стенами которого стояли новенькие книжки в красивых переплетах.

Однажды одна из этих книг попала к Шурке в руки. Я заглянула через его плечо на заголовок - "Анти-Дюринг".

- Такую тебе рано. - Библиотекарь потянула книгу к себе, но Шурка, как ястреб, вцепился в нее костлявыми пальцами, покраснел. - Не прочтешь ведь.

- Прочитаю.

- Прочтешь - не поймешь.

- Пойму.

Забрал Шурка все-таки книгу. И прочитал. Зойка сказывала, измучился, у матери все таблетки от головной боли съел, а прочитал.

- И понял? - спросила я Зойку, потому что после Шурки я тоже брала эту книгу, но не прочитала и двадцати страниц.

- Не знаю, Капа. Я его спрашивала, а он треснул меня по затылку и говорит: "Не твоего ума это дело".

Я улыбнулась.

Я поняла, что Шурка в той мудреной книжке тоже ничего не понял. Но прочитал же... Упрямый Шурка, настойчивый. Если бы он захотел, на одни пятерки мог учиться. Я уверена.

Шурка вдруг перестал жевать, насторожился.

- Ты чего задумалась? - спросил он.

- Я, Шурк, вспомнила, как мы просо пололи. Мед ели.

- А-а-а, - равнодушно промычал Шурка и захрустел огурцом.

Однако и он думал об этом. Губы его то и дело расплывались в широкой улыбке.

Это случилось прошлым летом.

В последний учебный день, в конце последнего урока, к нам в класс нежданно-негаданно вошел председатель колхоза. Он был не наш деревенский присланный. И мы его почти совсем не знали. Знали только, что зовут его Семен Ильич, и все.

Семен Ильич извинился перед Зоей Павловной, которая, как и мы, растерянно глядела на председателя, и обратился к нам.

- Помочь, ребятки, надо, помочь. Просо травой позаросло, прополоть треба. Во как необходимо! - Семен Ильич обвел класс

взглядом. - А мы вас не забудем. Обещаю - не забудем. Каждому, кто выйдет в поле, - по пол-литровой банке меду. Идет?

- Ура-а-а! - закричали мальчишки.

И мы пололи. Две недели, не разгибая спин, ползали по жесткому, сухому полю. Все коленки в кровь исцарапали. Все руки искололи, вытаскивая из земли неподатливые колючки с длинными упругими корнями.

В первую неделю Семен Ильич заходил к нам на поле каждый день. Обегал прополотый участок, вытирал широченным синим платком шею, шутил, смеялся.

- Молодцы, ребятки, молодцы. Вы работаете, и пчелки работают. Вы травку дергаете - пчелки мед вам носят, забодай их комар. Мед сладкий, ароматный.

На второй неделе председатель стал забывчивым. Приходил к нам редко, про пчелок не упоминал. Вздыхал, жаловался.

- Дела, ребятки, дела. Цигарку скрутить неколи.

А иной раз пробежит стороной, помашет нам соломенной шляпой, поулыбается, и был таков. А под конец, когда мы допалывали поле, Семен Ильич совсем пропал.

Мы забеспокоились.

Послали делегацию во главе с Шуркой разыскать председателя, порадовать его, сказать, что поле чистое и что мы хотим сладкого, ароматного меду.

Председатель, как потом они рассказывали, встретил их уныло.

- Да, да, - говорил он им, - стахановцы вы, стахановцы, а пчелки... и развел руками. - Ленятся пчелки, забодай их комар, ленятся. Потерпите.

И мы терпели. Прошел месяц.

- Потерпите.

Прошло полтора месяца.

- Потерпите.

Сладкий мед начинал пригарчивать обманом.

Шурка не вытерпел. Написал записку:

"Пчеловоду Горшкову Василию.

Выдать по пол-литровой банке меду ученикам

6 "Б" класса за прополку проса".

Дальше шел список учеников. Внизу приписка:

"Всего 30 (тридцать) человек. Выдать 15 кг.

Председатель колхоза "Заветы Ильича".

Долго Шурка гонялся с этим письмом за председателем. И утром, и днем, и вечером.

Председателю то некогда было, то в ручке чернил не оказывалось, а то вообще махнет рукой и убежит. Но Шурка как

репей прицепился, ходил за председателем по пятам.

- Подпишите.

- Потерпите.

- Натерпелись, хватит.

- Ну, недельку. Ну, две.

- Знаем. Через неделю вас снимут (а такие слухи шли по деревне), а новый скажет: ничего не знаю. Кто обещал, с того и получайте. Нет уж, подписывайте.

Председатель вспылил. Но... через несколько дней на общем колхозном собрании его действительно сняли.

Поставили нашего, деревенского, - Ивана Кузьмича.

В первый же день, встретив Шурку, он засмеялся, спросил:

- Мне тоже будешь ультиматумы писать?

- Буду, если станете обманывать.

- Зачем же обманывать?

- А я знаю? Зачем прежний-то обманывал?

И мед нам выдали...

Шурка поел, собрал с дощечки крошки, встряхнул их на ладони, бросил в рот. Достал бутылку с водой и, запрокинув голову, долго жадно пил. Потом поставил бутылку на старое место, сказал:

- Не думал я, что ты такой хороший пацан, Капка.

Я не ожидала таких слов от Шурки, растерялась.

- Неправда, Шурк. Ты всегда меня бил.

Шурка встал, поддернул серые мятые штаны.

- Не любил я тебя.

- За что?

- Не знаю.

- А я знаю. За то, что я отличница.

- Нет. Не любил, и все.

- А сейчас?

Я исподлобья взглянула на Шурку. Затаилась, ждала.

- А сейчас полюбил.

- Врешь, Шурка?

Шурка побожился.

- Так быстро?

- А чего?

- А я тебя, Шурк, еще нет, не полюбила.

Шурка удивленно посмотрел на меня и вдруг засмеялся:

- А ну тебя. Девчонки!.. Вечно у вас в голове не знай что. Я тебя как мальчишка мальчишку полюбил. И мы с тобой будем друзьями. Но уговор: больше ни с кем не дружить. Тебе с мальчишками, а мне с девчонками. Поняла?

- Поняла, Шурк.

Но мне отчего-то стало грустно. Я поднялась.

- Куда ты?

- Я домой пойду.

Шурка недоуменно смотрел на меня. Я вышла. Густая, темная ночь. Я присела на завалинку дома. С краешку присела, на жердочку. Что меня тревожило, не знаю. А тревожило. Я долго сидела и прислушивалась. Прислушивалась к самой себе. Тревога была где-то там, во мне. Грустная и волнующая.

В темноте ко мне неслышно подошла кошка. Потерлась шелковистым боком о мои ноги, замурлыкала.

Я наклонилась, погладила ее, взяла на руки.

- Кисонька! Хорошая моя, кисонька!

"Мур, мур, мур", - о чем-то ворковала-рассказывала кошка. И вдруг смолкла, насторожилась.

У плетня послышался шорох.

Кошка вздрогнула, царапнула меня и прыгнула в темноту.

Меня потянуло домой, в теплую постель. Захотелось укрыться одеялом, прижаться к Нюрке и поскорее заснуть.

А Шурка... Как он будет спать? На соломенном мате? Простынет. Под утро прохладно, да и сыро в погребе.

Я тихо-тихо пробралась в чулан, нашла старый папин тулуп, сняла его и так же тихо вышла.

Шурка спал. Спал на боку, подложив под голову вытянутую левую руку, коленки поджал к самому животу.

Я опустилась перед ним на корточки, осторожно притронулась к его волосам, вынула из них соломинку.

Губы у Шурки расплылись в улыбке.

Я отпрянула, прижалась к стене. Шурка не шевелился, начал усиленно что-то жевать.

"Не наелся он. Еда ему снится".

Я заботливо укрыла Шурку тулупом и, уходя, шепнула:

- Спи, Шурка, завтра я накормлю тебя досыта.

Утром я проснулась радостная. Не знаю почему, но радостная-радостная. Мама хлопотала у печки. Дрова горели весело, длинный язык пламени высовывался в трубу, слизывал сажу.

В окно заглянуло еще не умытое полусонное солнышко.

По лужайке возле дома горделиво расхаживали грачи. А на старом морщинистом вязе так и прыгал, так и хлопал крыльями, так и высвистывал весь взъерошенный от восторга скворец.

Нюрка лежала на маминой кровати, широко раскинув руки.

Я вытрясла половики, подмела в комнате, сходила за водой. Присела к Нюрке на кровать, наклонилась, поцеловала ее. Нюрка открыла глаза и сразу:

- Кап, ты зачем вчера утащила лампадку?

- Т-с-с... Ты же спала?

- На-ко. Я не вовсе спала. Это ты для покойничка?

- Наврала я тебе, Нюр. Не было на чердаке никакого покойника. Шурка тут вчерась прятался. Это они с Колькой сарай-то спалили.

Заскрипела дверь, и на пороге нашего дома появилась Зойка.

Мне не нравилась она. Вспыльчивая, задира, никогда не уживалась с девчонками и чаще бегала с мальчишками. Училась она так же, как и Шурка, плохо. Но Шурка учился не просто плохо. Он то получал одни пятерки, то одни колы с двойками.

Учителя считали Шурку способным лентяем. Зойка же училась ровно, перебивалась с двоек на тройки.

Зойка часто приходила ко мне, я помогала ей по русскому языку. Шурка не помогал ей. Они жили как кошка с собакой.

Сколько я ни билась, как ни объясняла Зойке, она существительное от глагола отличить не могла.

Говоришь ей:

- "Корова шла". "Корова" - существительное, "шла" - глагол. Существительное отвечает на вопросы "кто?" или "что?", а глагол - "что делает предмет?" или "что делается с ним?". Поняла?

- Поняла.

- "Лошадь прыгает". Где существительное, где глагол?

Зойка молчит.

- Кто прыгает?

- Рыба.

- Какая рыба? Лошадь. Лошадь - кто?

- Зверь.

- Ох, Зойка! Сама ты зверь. Лошадь не зверь, а животное.

- Ну, животное.

- Да я не об этом тебя спрашиваю.

- О чем же?

- Где существительное, где глагол?

- А я откуда знаю? Что я, брала, что ли? Вот пристала.

Начинаешь все сызнова.

- "Лошадь прыгает". Лошадь...

Зойка хохочет.

- Ты что?

- Что, лошадь-то козел, что ли? Скажешь тоже - прыгает... Она не прыгает, а скачет.

- Ну хорошо. Пусть по-твоему - скачет.

- Нет, не по-моему. Она по-моему не умеет. Я на одной ножке.

И так вот каждый раз. С ума можно сойти!

После таких уроков я не только дружить, я прятаться начала

от Зойки. Увижу в окошко, что она к нам бежит, - и в подполье.

Однажды заболела из-за нее, простудилась. Холодно в подполье-то, а я в одном платье.

А Зойка вошла к нам и не уходит. Нюрка говорит ей, что меня нет, что я гулять ушла, что долго не приду, а она:

- Ничего, Нюр, мне не торопко. Я подожду.

И сидела битый час.

Я вся продрогла. Выскочила - зуб на зуб не попадает. Противная Зойка, глядеть на нее не хочется.

А сегодня я Зойке почему-то обрадовалась. Странно. У меня было такое ощущение, что я давно-давно поджидала Зойку и вот она пришла.

Может, это оттого, что у меня было хорошее настроение? А отчего оно? Вчера было совсем не так. Сегодня и солнце другое, и тепло другое, и дома другие, и Зойка другая. Сегодня все, все другое.

Зойка толкнула меня в плечо.

- А?

- Ты что, уснула, что ли?

- Уснула, Зойк.

- Смешно. У нас бабушка тоже на ходу спит. Прошлый год пошли мы с ней в лес за малиной. Идем-идем, идем-идем, а она ка-а-ак бросится с дороги и в кусты. Я за ней: "Ты что, говорю, баб?" А она побледнела, трясется. "Ой, говорит, Зоюшка, дай отдышусь. Лошадь мне приснилась. Прямехонько на нас скачет". - "Э-э-э, говорю, баб, так мы и до малины не дойдем задавят". А в другой раз...

- Это что у тебя? - перебила я Зойку.

Иначе только слушай. Она как заводная, целый день протараторит.

- Это тебе. Я обещала.

- Осколки от тарелки?

- Они. Я тебе все принесла.

- Зачем?

- Боюсь. Хватилась мама тарелки-то. Ну как найдет в моей клетке...

- Она же не знает, что ты разбила?

- Не-ет. Я на Шурку свалила.

Я вздрогнула.

- Ты что, Зойк?

- А что? Ему все едино. Его так и этак пороть будут за сарай-то.

- Не нужно мне, Зойк, твоих осколков. Человек и так в беде, а ты...

- Да ну тебя.

- Я вот передам Шурке.

- Передай, коли найдешь. И где он только прячется?

- Я знаю.

- Знаешь?! - Зойка так и впилась в меня глазами.

- Знаю.

- Ой, Кап, скажи. Ну пожалуйста. Он ведь голодный. Я ему молока с кашей снесу. И еще скажу, что кнут отцовский мама спрятала. Ругает она отца за Шурку. Сегодня все утро ругала. "Аспид, говорит, совсем мальчишку от дома отбил. Глаза бы, говорит, на тебя не глядели. Хоть бы, говорит, сгинул с глаз моих куда-нибудь, что ли, и то бы нам легче стало".

- А отец что?

- Молчит. - Зойка погрустнела, сказала: - Без него нам, Кап, и правда лучше бы стало.

- Типун тебе на язык. Болтаешь и сама не знаешь что.

- Пьет он.

Я задумалась. Вспомнила, как мы с мамой делали хлев, как мы измучились. Вспомнила папу. Зимний вечер. Папа сидит на опрокинутой табуретке, перед ним скамейка. На скамейке - кривое шило, дратва, вар, кусок воска. От воска вкусно пахнет медом. Электрическая лампочка с потолка спущена на длинном белом шнуре и почти касается скамейки. На скамейке светлота. Худые кисти папиных рук в черных полосах от пропитанной варом дратвы.

Мишка с Нюркой мешают папе, жмутся к его коленям, но он не прогоняет их. И когда протягивает сквозь валенок наваренные концы, руки разводит не широко, осторожно.

Мама замечает, что папе неудобно подшивать, оттаскивает Мишку с Нюркой в сторону. Папа молчит. И Мишка с Нюркой через минуту снова возле его колен. Мама сердится на них, но уже не оттаскивает, а смотрит и на них и на папу с грустной улыбкой.

Сергунька спит в люльке. Я сижу за столом с книжкой. Мне тоже хочется прижаться к папе, но я стесняюсь - я уже большая...

Я вздохнула, сказала:

- Нет, Зойка, без отца плохо.

- Это верно, Кап. Ты не думай, я его не совсем не люблю, мне его жалко. Он иной раз напьется, упадет на лавку вниз лицом и ревет. Кулаками стучит. "Душу, говорит, я дьяволу продал". Ревет как маленький. А какую душу, какому дьяволу - не говорит. - Зойка посмотрела мне в глаза: - А Шурка отца любит. За то, что отец партизаном был. Он говорит, что отца понять надо. А мы с мамой никак не поймем. Шурка, он понятливый. Он тоже

партизаном хочет быть. Немецкий учит, у него даже немецкая газета есть. Мама ругается. "На что, говорит, нужна тебе эта тарабарщина?" А Шурка свое. "Я, говорит, к войне готовлюсь. Начнется - я, говорит, в разведчики уйду". И он уйдет, он такой. А меня не возьмет. Он говорил. Ну и пусть, я и без него уйду. Он воображает, что если он щеку и руку протыкает иголкой; то только он один и может партизанить. Подумаешь! Я тоже научилась протыкать. Вот посмотри. - Зойка выдернула из платья иголку и приставила ее к ладони.

Я сморщилась.

- Не надо, Зойк.

- А все уже.

Я открыла глаза.

Перед моим лицом ладонь Зойкиной руки, а в ней иголка.

Зойка гордо улыбалась.

- Убери, Зойк, больно.

- Когда протыкаешь, больно. А сейчас нет. - Зойка рывком вытащила иголку, сказала: - Хочешь, я щеку проткну?

- Нет, Зойк, не хочу.

- А то проткну. Теперь Шурке нечем станет хвалиться. Ох он и обозлится!..

Нюрка позвала меня завтракать.

- Иду.

А сама не двигаюсь.

Мне не хочется расставаться с Зойкой. Она приколдовала меня своими фокусами.

А фокусами ли? Нет. Разговорами о Шурке?

Я испугалась и чего-то устыдилась. Я вдруг поняла, чего я ждала все утро, чему радовалась.

Я ждала встречи с Шуркой и почему-то боялась этой встречи, оттягивала ее.

Зойка очень схожа с Шуркой.

У нее такие же рыжие глаза, такие же кудрявые волосы. И лицо у нее такое же смуглое, только чуточку посветлее и курносее. И повадками Зойка походила на Шурку.

* * *

После завтрака я осталась одна.

Мама ушла на ферму. Нюрка увела в ясли Сергуньку с Мишкой.

Я припасла Шурке завтрак, на всякий случай спрятала его за сундук и, поджидая Зойку, взяла книгу, присела к столу.

А может, не ждать ее. Разболтает еще. Я захлопнула книгу, положила ее на стол. Пойду. И снова села.

Что это я? Что со мной? Боюсь?

Встала, прошла по комнате. Остановилась у зеркала. Какая я некрасивая. Причесалась.

Все равно некрасивая. Бледная, брови чуть заметно, и нос - какая-то закавыка малюсенькая.

Любовь... Я улыбнулась, засмеялась. Упала на мамину кровать и заплакала.

- Мама... Мамочка!..

Тишина комнаты глухо молчала.

Стучали ходики: "Лю-бовь! Лю-бовь! Лю-бовь!"

- Не буду любить! Никого не буду. Не хочу любить!

"Лю-бовь! Лю-бовь! Лю-бовь!" - грохотали ходики.

- Нет! Нет! Нет!

Я вскочила, подбежала к стене, остановила маятник часов.

- Нет!

Опомнилась, стыдливо прижалась затылком к прохладному бревну стены. Подняла руку, толкнула маятник.

Вошла Зойка, осторожно поставила на пол корзинку.

Я отвернулась, торопливо вытерла слезы.

- Куда ты, Зойк?

- К Шурке.

- С корзинкой?

- И что? Он, поди, как волк голодный.

- Он ужинал...

Помолчали.

- Кап, а что ты какая грустная?

- Не знаю.

- Ты плакала?

Я кивнула.

- Некрасивая я, Зойк.

- Выдумала. Вот я некрасивая. А ты, Кап, красивая. Лицо у тебя белое, губы тонкие, а глаза большие-большие, синие-синие. И волосы у тебя гладкие, белые. Нет, Кап, ты красивая.

Я обняла Зойку, прижала к себе.

- Неправда.

- Правда, правда, Кап.

Мы вышли, обогнули дом, пересекли лужайку, прошли мимо плетня. Завернули за сарай.

Я остановилась.

- Ты, Зойк, иди, а я тебя тут обожду.

- Куда?

- Вон в тот бурьян. Там погреб есть. Шурка в нем.

- А ты что?

- Я...

- Вы разругались?

- Нет, Зойк, иди.

Зойка пошла. А я смотрела ей вслед и ждала, что она обернется и позовет меня. Но Зойка... Зойка скрылась в бурьяне.

У меня заныло в груди.

Меня неодолимо потянуло к бурьяну в погреб, но страх и стыд удерживали на месте.

Чего я стесняюсь, говорила я себе, погреб мой, пойду.

Делала несколько шагов вперед и полукругом, будто прогуливаюсь, возвращалась на старое место.

Кого я боюсь? Шурки?

Я замирала и прислушивалась.

Нет, не его. Его мне хочется видеть. А кого же? Чего же? Пойду. Шаг. Еще несколько шагов. Еще маленький-малюсенький шажочек. Бурьян. И снова полукруг. И опять я на прежнем месте.

Над бурьяном выросла кудрявая Шуркина голова.

- Кап...

Я испуганно метнулась прочь. Вбежала в дом, спряталась за печку.

Тихо-тихо. Тревожно колотится сердце.

Кап. Не Капка, а Кап.

Я прыгнула к зеркалу.

- Красивая я... Ой, какая красивая!..

Три дня и три ночи скрывался Шурка в моем "царстве" - погребе. Три дня мы с Зойкой носили ему еду. Обкормили. Шурка зазнаваться стал. Что похуже, откладывал, нам самим приходилось доедать, не выбрасывать же.

Мы чего-чего только не носили Шурке! Картошки и вареной, и жареной, каши, хлеба, лепешек, огурцов, и молока, и сметаны, и творогу, и яиц, и похлебки горячей.

Шурка начал поговаривать: не остаться ли ему насовсем в погребе.

- Ты что?! - испугалась Зойка. - Мама насмерть забьет кота. Потом за меня примется.

А я обрадовалась. Я привыкла к Шурке. Я его нисколечко больше не стеснялась. Удивительно.

Сначала Зойка силком тянула меня в погреб. Правда, я не очень сопротивлялась. Боялась, как бы Зойка не отступилась от меня. Но шла и не знала, куда глаза прятать от стыда. А пришла - ничего. Разговаривала, смеялась, рассказывала даже, как мы с мамой хлев строили поросенку и как он потом его развалил.

Только взглядом с Шуркой встречаться робела.

Бедовый у Шурки взгляд. А сам он деловой, без работы сидеть не любит. Хлев нашему поросенку смастерил такой, что его не только поросенок - бык не изломает.

Мама не нарадуется и все пытает меня.

- Откуда это у тебя такой ловкач выискался, а? И хлев сколотил, и западню в подпол устроил, и скамейку починил. Что ж ты молчишь? допытывалась мама.

- О нем нельзя говорить. Он все это мастерил украдкой. Он, мам, беглый.

Мама испуганно всплеснула руками и сокрушенно покачала головой.

- Этого нам еще не хватало.

Но я заметила в маминых глазах смешинку и поняла, что она все знает. Я прижалась к ней.

- Мам, ты не скажешь?

- А я знать ничего не знаю и ведать не ведаю.

- Знаешь, мамочка, знаешь.

- Возьми вон маленькую подушку. Да ключ от сарая дай ему. Не ровен час, дождь пойдет - спрячется.

- Мама...

Я уткнулась лицом ей в грудь.

- Ну, будет, будет.

Мама отстранила меня и заглянула мне в глаза. Тихо, печально улыбнулась.

Колькиным родителям Шурка написал письмо.

"Дядя Рома и тетя Вера, Колька ни в чем не виноватый. Сарай сгорел из-за меня, Колька говорил мне, чтобы я развел костер подальше, но я не послушал его.

Мы хотели пекарить картошку. Пока собирали дрова, сарай и запылал.

Я один виноватый, мне и отвечать положено.

Ш у р к а М а ш и н".

Зойка отнесла письмо и отдала дяде Роме в собственные руки. Но письмо опоздало, Кольку уже выпороли. Мать выпорола, да так, что он, говорят, за обедом и то не присел на лавку. Бедный Колька!

А Шурке сошло. Отсиделся в погребе.

Мать Шуркина изволновалась вся. Всех обспрашивала: не видали ли, не встречали ли Шурку? В соседнее село к своей сестре бегала - искала пропадущего. А он был рядышком, книжки почитывал. И не показался бы, да каникулы кончились.

Растрепал пострашнее волосы, вымазался в саже, сделал грустное-прегрустное лицо и явился.

Мать от радости не знала, куда его и усадить. Баню специально для него протопила: мойся, Шурка-страдалец. И Шурка вымылся. На другой день в школу пришел чистенький, наглаженный, в новом коричневом костюме.

Я тоже пришла в новом платье и в новых белых туфлях. Нарядная. Непривычно. Я чувствовала себя неловко и радостно.

И вообще вся школа после каникул как будто обновилась. И учителя и ученики оделись легко и по-весеннему весело. И уроки в этот день прошли весело. Домашних заданий учителя не спрашивали, и никто ни на кого не обижался.

После занятий в спортивном зале было общее школьное собрание. Директор говорил об успеваемости, напомнил нам, что на улице поют жаворонки, что до конца учебного года осталось полтора месяца и что они самые тяжелые. А под конец объявил, что меня и еще одну девочку, как лучших учениц, педсовет награждает путевкой в пионерский лагерь. Зал захлопал.

А мама, когда я пришла домой и показала ей путевку, не обрадовалась. Я понимаю: ей не хотелось отпускать меня. Трудно ей одной-то.

- Это, мам, ненадолго.

- Знаю, дочка, поезжай.

- Я могу не ехать.

- Можешь... - Мама помолчала. - Нет, нет, надо ехать.

- Это еще не скоро, в июне.

- Не скоро, говоришь. - Мама достала из печки чугунок каши, поставила его на стол, опустилась на скамью. - А долго ли? И не заметишь.

Мама права, весной время идет торопко, а работы пропасть. В школе уроков полно. На дом задают помногу. А за двором огород ждет. Копать надо, копать.

А его окинешь взглядом - оторопь берет. Шутка ли: этакую махину земли лопатой переворочать. А куда денешься? Его все равно вместо тебя никто не вскопает.

Нюрка... На нее надежды плохие. Слаба она, мала. Копает, мучается. Но только и есть, что мучается.

Мама... А когда ей? У нее на ферме работы невпроворот. Маленьких телят народилось - не перечесть. А они слабенькие, беспомощные. На длинных ногах, как на ходулях, топают, падают. Смотрят на все удивленными глазами и ничего не понимают. Их приласкать, напоить, накормить надо. А они еще не пьют просто из ведра. Тычутся носами, фыркают. Им палец требуется. Опустишь ладонь в парное молоко, а другой рукой пригнешь туда же его глупую голову. Он почувствует пальцы, обрадуется и сосет их, как соску, пьет молоко. Трудная у мамы работа, хлопотная. И хорошо, ежели ни один не болеет. А заболеют - беда. Мама до поздней ночи с ними. Какой уж тут огород. Тогда не она мне помогает копать, а я ей помогаю ухаживать за телятами. Обе измотаемся так, что и есть не хочется.

А огород стоит.

Копать его все равно надобно. И не просто копать - унавозить.

Навоз хоть и рядом - у двора, а его растаскай да раскидай.

А без навоза - ворочай землю за здорово живешь. Лук по пуговице уродится, морковь - хвостики одни, а уж о капусте, об огурцах со свеклой да о помидорах и спрашивать нечего.

Мама говорит: без навоза землю копать - все равно что решетом воду таскать.

Копать. Ох и мучительно копать!

Особенно первое время. Все тело будто палками избито. Дотронуться страшно. На лопату глядеть противно. А ее брать надо и снова копать.

Копать и боронить. Копать и боронить.

Руки на ладонях задубеют - что твоя подошва на туфлях. Черенок у лопаты отгладишь - блестит как ноготь, а сама лопата - чистое зеркало. Руки еле ворочаются, ноги гудят, плечи как пудовые гири. Спина онемеет еле разогнешься. Губы пересохнут - шуршат.

Отдохнуть бы, поспать. Время поджимает, сажать пора.

Вечер. Спасительный вечер. Кажется, упала бы на постель, вытянула ноги, не вставала бы.

Ужин. На бугре заиграла гармонь. Шурка... Нет, не пойду сегодня. А сама волнуюсь, торопливо допиваю молоко, вылезаю из-за стола, стыдливо поглядываю на маму, мельком заглядываю в зеркало и на постель. Постель манит.

- Устала. Куда ты?

А гармонь зовет, зовет.

- Я недолго, мам.

Мама молчит. Мама вспоминает свою юность.

- Я не запрусь. Придешь - не стучись.

- Хорошо, мам.

Белые туфли. Нарядное платье.

Давно знакомые веселые и грустные частушки.

Я старалась петь громче всех. Я пела для Шурки. Я хотела, чтобы он меня услышал.

Но подруги мои тоже не молчали, тоже старались перекричать одна другую, и голос мой, как дождевая капля в луже, растворялся в общем визгливом переполохе.

Частушки мы пели на ходу. Ходили вдоль деревни. Мы, девчонки, впереди, мальчишки с гармонью позади нас.

Пели они почему-то всегда не своими, нарочно грубыми голосами, и, как я ни прислушивалась, уловить Шуркин голос никогда не могла.

Частушки у них всегда были или ухарские, или грустные. И мало у них было частушек про любовь.

Подхожу я ближе к дому,

Дом невесело стоит.

Собрата моя котомочка,

На лавочке лежит.

Ходили мы вдоль деревни долго, до тех пор, пока не открывались в избах окна и не ругали нас. Спать мешаем.

Мы уходили за деревню на бугор. Игры играли. Играли до рассвета. И больше всего мне нравился "ручеек".

Мальчишки и девчонки встают попарно друг против дружки. Берутся за руки, поднимают их. А у кого нет пары, проходит сквозь этот строй и выбирает себе напарника. Осиротевший делает то же самое, и "ручеек" течет, течет, течет. До тех пор, пока игра не надоест.

Хорошая игра. Молчаливая, не суматошная. Не то что в "третий лишний". Визг, крик, носишься как угорелая. Запыхаешься, измучаешься. А утром в школу. А после школы копать.

Так и ноги таскать не будешь.

А в "ручеек"...

Я всегда выбирала Шурку, а он сердился. Возьмет меня за руку да как стиснет ее изо всей мочи в ладони, инда косточки захрустят. Из глаз слезы катятся.

- Шурка, у нас же дружба.

- А я кажу, какая она крепкая.

Ох, Шурка... И совсем ты не это показываешь. Что я, слепая, не вижу? Когда ты идешь "ручейком", ты не меня, а Розку выбираешь. Конечно, она красивая. Но ведь она тебе не пара. Она старше тебя на четыре года. Ей замуж пора. А тебе жениться еще рано.

Сказать бы все это Шурке. Набраться бы храбрости и сказать. А как скажешь? И зачем? А вдруг он не так поймет, насмехаться станет. Он и без того плохо думает обо мне.

А все из-за чего? Из-за того, что я его к себе приплюсовала. А почему приплюсовала? Мне обидно было. Почти всех девчонок с мальчишками плюсовали, а меня нет.

Вот я и приплюсовала: "Шурка + Капка = любовь".

Прочитала и обрадовалась. Стерла. И опять написала. И... оставила. На дороге в школу я писала. Раньше всех я шла. Шла и писала. Шурка пройдет, прочитает.

Иду, иду, разглажу песок и напишу: "Капа + Шура".

Или: "Шура + Капа".

И так до самого школьного забора.

Говорят, Шурка волком выл от злости.

Я на другой день опять всю дорогу исписала.

Шурка помрачнел. Говорят, молчал, только зубами скрипел

да кулаки сжимал.

- Ну, узнаю...

А откуда он узнает? Я задержусь в школе после уроков и снова разрисую всю дорогу. А утром иду вместе со всеми в школу и возмущаюсь. Затаптываю вместе с Шуркой написанное. Он смотрит на меня и успокаивает:

- Ты, Кап, не думай, я его подстерегу. Ох уж тогда...

- Я, Шурк, не думаю. Пускай пишет.

- Как пускай?

- А так. Может, он правду пишет.

- Чего? - У Шурки от удивления брови поползли на лоб.

- Чевокалки проехали, - отшутилась я.

- Смотри, как бы они тебе по носу не заехали.

- А дружба?

- Дружба дружбой, а за такое посмешище... - Шурка не договорил, ударил кулаком по портфелю.

Но я не испугалась.

Две недели я играла с Шуркой, как кошка с мышкой. А на третью попалась. Шурка поймал меня на месте преступления.

В тот день я сажала в огороде капусту. Сквозь плетень наблюдала за Шуркиным домом.

В кармане моего платья лежал кусочек мела.

Я тебя, Шурка, порадую. Запляшешь.

"Посмешище..."

Слово-то какое придумал. Значит, ежели тебя приплюсовывают ко мне это посмешище? Ну хорошо. Я тебе всю стену разукрашу. "Посмешище..."

Я достала из кармана осколок зеркала и долго разглядывала свое лицо.

Нет, Шурк, я не посмешище. Брови у меня только на солнышке выцвели, а то бы я совсем красивая была. Я достала из кармана черный карандаш, подвела брови.

Вот видишь. А кабы еще румяна... Но у меня нет румян. А у Розки есть. Она дояркой работает. И что ее никто замуж не возьмет?

Дояркой... Как это я раньше не догадалась, дурочка. Теперь ясно, почему Шурка часто возле колхозных дворов вертится.

"Папе помогаю".

Болтун. Я положила в карман зеркало с карандашом, встала и без всякой предосторожности пошла к Шуркиному дому, влезла на завалинку и начала писать.

Писала крупно, размашисто. На последнем, самом толстом нижнем бревне нарисовала карикатуру на Шурку и написала: "Шурка + Шурка + Шурка = глупый баран".

Подчеркнула. Села и заплакала.

Шурка подошел ко мне неслышно, откуда-то из-за дома. Наверное, с огорода - копал. Его босые ноги были в сырой земле и навозе. Лицо потное.

Я отодвинулась в угол, робко съежилась.

Шурка посмотрел на исписанную стену, на меня, снова на стену и снова на меня.

- Это, Шурк, не я.

Шурка молчал.

- Верно, верно, Шурк. А это, - поглядела на свои испачканные мелом руки, - я стирала. Вот так вот.

Я потерла ладонью по исписанному бревну.

- Стирала?

- Стирала...

Шурка размахнулся и... Нет! Нет! Он не ударил меня. Он опустил руку и сказал:

- Зачем ты это? - Сказал тихо, дружелюбно: - Сотри.

С тех пор я не приплюсовываю Шурку. А он, когда мы играем на бугре, избегает меня.

Обидчивый какой...

"Стыдно, - говорит, - мне за тебя".

А не знает, как мне за него стыдно в школе, страх. Когда он у доски отвечает урок, я готова под парту спрятаться. Дык... Мык... В классе хохот. А у меня уши пылают.

Эх, Шурка, Шурка... Если бы ты учился по всем предметам на пятерки, как по физкультуре да по немецкому, я бы гордилась тобой. А так стыдоба одна. Жду не дождусь, когда учебный год закончится.

За неделю до экзаменов Шурка вдруг резко изменился - притих, ходил понурый, неразговорчивый. На уроках рассеянно смотрел в окно. Из школы возвращался в одиночку и не дорогой, а стороной - лугами.

Вечерами Шурка не показывался на улице, и наша деревенская гармонь замолкла. Скучно стало вечерами.

Мальчишки уходили гулять в соседнюю деревню, а мы, девчонки, сиротливо шатались по улице и нагоняли на себя тоску унылыми, тягучими песнями. Пели нехотя - лишь бы скоротать время. Рано расходились спать.

Однажды, когда я бежала с гулянья домой, меня в затененном переулке кто-то окликнул.

- Кап!

Я обмерла: Шурка. Остановилась.

- Ты куда?

- Домой.

Шурка, мрачный, вышел из темноты, грустно улыбнулся и побрел рядом со мной.

В руках у него была ветка. Он нервно обрывал с нее листья и швырял их в сторону.

- Давай посидим немного.

- Давай!.. - обрадовалась я и устыдилась.

Однако Шурка ничего не заметил. Угрюмо склонив голову, он думал о чем-то своем. Мы долго шли молча.

Я первый раз в жизни гуляла с мальчишкой вдвоем. Хорошо, что Шурка не взял меня под ручку.

Конец деревни. Мы присели на сваленные у мазанки дрова. В соседнем селе играла гармонь. Мы молчали. Взошла луна. Прокричали петухи.

С полей потянуло прохладой. Я начала зябнуть, но сказать об этом Шурке побоялась. Не хотелось уходить домой.

Возле конных дворов завыла собака. Смолкла.

Я сидела, боясь шелохнуться, ждала. Он, наверно, обнимет меня... Ой, страшно! Я наклонила голову, съежилась.

- Звезда упала.

- Чего, Шурк?

- Звезда вон сгорела.

- Где? - Но тут же спохватилась, ответила: - Это, Шурк, чье-то счастье рассыпалось.

Шурка встал.

- Пошли?

- Куда?

- Домой.

У дворов снова завыла собака. Завыла протяжно, тоскливо.

- Шурк, а что ты такой печальный? И гулять не выходишь, и на гармони не играешь. У тебя что-нибудь случилось?

Шурка молчал.

- Скажи. - Я участливо притронулась к рукаву его рубашки.

Шурка резко повернулся, крепко схватил меня за плечи.

- Ты друг мне?

- Друг.

Он не мигая уставился в мои глаза.

- Врешь?

- Нет, нет... - испуганно прошептала я.

Шурка в злой улыбке перекосил рот, сморщился.

- А ну вас, все вы лживые. Ненавижу.

Он оттолкнул меня, сгорбился, тяжело зашагал к своему дому.

- Шурка!..

Я постояла и пошла следом за ним. Шурка сидел на крыльце,

плакал.

* * *

Через два дня мы сдали последний экзамен. Закончили семилетку. Получили аттестаты и всем классом пошли в лес.

Шурка был по-прежнему мрачным.

Возвратившись домой, я узнала ошеломляющую новость. Зойка мне сказала:

- Розка выходит замуж.

- Ура!

Я запрыгала и закружилась по комнате.

- Ура! - Схватила Зойку в охапку, поцеловала ее, усадила на кровать: - Рассказывай.

- В воскресенье свадьба. Сегодня они в сельсовет ездили расписываться.

- Ездили уже?!

- Ага... Она в белом платье. Нарядная-нарядная! Красивая-красивая!

Говори, Зойка, говори. Наплевать мне теперь на нее. Будь она хоть трижды раскрасавица. В воскресенье свадьба...

- Шурка будет играть на свадьбе.

Я захохотала.

- Не станет он, Зойк, играть. Ни за что не станет.

Но я обманулась.

Шурка играл на свадьбе, отец заставил. Шурка играл, а отец пил.

Я тоже была на свадьбе. На завалинке стояла, в окошко глядела. Неинтересное гулянье получилось. И все, по-моему, из-за Шурки. Никогда бы не подумала, что можно одной гармонью превратить свадьбу в поминки.

Уж очень грустно играл Шурка. Поначалу песни военных лет:

С берез неслышим, невесом...

. . .

До тебя мне дойти нелегко...

. . .

Ты меня ждешь, и у детской кроватки тайком...

. . .

После этих песен старики, вздыхая, начали вспоминать, кто где когда воевал. Выпили за погибших товарищей, прослезились.

- Давай старинные! - крикнула бабушка Анисья.

И Шурка завел старинные.

Вот мчится тройка почтовая...

. . .

В низенькой светелке огонек горит...

. . .

Догорай-гори, моя лучинушка,

Догорю с тобой и я.

Бабка Анисья расплакалась. Склонила голову Шурке на плечо, всхлипывала и все бормотала:

- Ох, касатик, потешил! Ох, отвел душу! Давай еще, давай...

Под утро свадьба затихла. Мы с Зойкой заглянули в окошко. Батюшки!..

И на полу, и на стульях, и сидя за столом, и под кроватью, и на кровати - всюду спали гости.

На столе все перемешано. Селедка с вареньем, огурцы с молоком, капуста с холодцом, колбаса с брагой. На полу мусор: окурки, обрывки газет, скомканные платки.

Молодые сидели у подтопка на сундуке.

Розка плакала. Васька, муж, ее утешал:

- Брось! Еще день, и все это кончится.

А на улице захлебывалась гармонь. Шурка вовсю наигрывал веселые частушки.

Мальчишки пели:

Давай, тятенька родной,

Давай поделимся с тобой:

Тебе соху и борону,

А мне в чужую сторону.

Вдруг Шуркин голос громкий, задиристый:

По дороженьке пырей,

Последний раз иду по ней.

Больше, Шурка, не услышишь

Поговорочки моей.

На другой день я уехала в пионерский лагерь.

Я ждала этого дня. Ждала и с радостью и с болью, ведь я впервые уезжала из дома.

Утро было пасмурное, сыпалась туманная изморось.

К нашему дому подъехала машина.

- Агриппина, невесту давай!

Я вздрогнула и растерянно взглянула на маму. Сердце мое замерло в тревоге. Мне хотелось, чтобы мама меня не отпустила. Но мама поцеловала меня, торопливо сказала:

- Ну, с богом, не забывай нас. В обиду себя не давай.

- Я, мам, письмо пришлю.

- Пиши, ежели что...

Я забралась в кузов.

В окно, припав лбами к стеклу, угрюмо смотрели Нюрка, Мишка и Сергунька.

Я отвернулась, заплакала.

Куда я? Зачем?

- Стойте! Стойте!

Но шофер не слышал. Машина мчалась, пустынная, пахнущая дымом улица уплывала.

* * *

В пионерском лагере я должна была отдыхать двадцать четыре дня. Но прошла неделя, и на меня навалилась тоска.

По ночам мне все чаще и чаще снилась наша светлая, тихая деревенская улица. Снились мама, Сергунька, Мишка, Шурка. Даже наш поросенок приснился. Будто встал он по-собачьи передними ногами ко мне на грудь и тычется слюнявым пятачком в мой подбородок.

По вечерам, когда девчонки уходили на танцы, я забиралась с ногами на подоконник и смотрела на малиновый закат.

Где-то там, за холмами, наши поля, наша укрытая вязовыми лапами деревня.

Пригнали стадо. Хлопают калитки. Кричат белолобые ягнята. Пахнет парным молоком.

Домой!

Эта мысль пришла мне неожиданно.

Я соскочила с подоконника, закружилась по комнате.

Домой! Домой! Домой!

Присела к тумбочке, написала подруге записку.

"Женя, не сердись на меня. Я больше не могу, соскучилась - сил

нет. Я ушла домой. Скажи пионервожатой, чтоб меня не искали.

П и р о г о в а К а п а".

Спрятала записку под подушку, собрала чемодан и, не раздеваясь, легла в кровать, укрылась с головой одеялом.

Спать. А завтра чуть свет... Перед глазами дорога, дорога, дорога...

Первые солнечные лучи застали меня далеко от пионерского лагеря.

Я присела на чемодан отдохнуть. Вокруг колыхалась рожь. Вспорхнул жаворонок, пискнула мышь. Тишина.

Вдруг послышался шум машин. Над дорогой длинный пыльный шлейф. Из кабины высунулся чумазый шофер:

- Девочка, куда?

- В Малиновку.

- А я в Ключищи. Садись, подвезу.

Кабина. Мягкое сиденье. Запах машинного масла и бензина.

- В гости?

- Домой.

- И я домой. Три дня не был, соскучился. Мишка у меня...

Поворот на Ключищи. Я сошла.

Вьется, петляет теплая гладкая тропинка то среди пшеницы, то среди овса, то по берегу оврага, то по картофельному полю. Легко, весело идти. Хорошо на душе, когда идешь домой.

За бугром показались округлые вязовые шапки. Растут, растут. Деревня. Кудахчут курицы, кричат петухи.

От волнения у меня закружилась голова.

На улице ни души. Дома никого. Поела, побежала в ясли. Мишка с Сергунькой кинулись ко мне:

- Капа!

Я прижала их к себе.

- Тетя Вера, можно, мы пойдем на пруд купаться?

- Идите, идите.

Мутный у нас пруд. Но зато вода в нем... Нигде нет такой мягкой и теплой воды. Залезешь - вылезать не хочется. А Сергуньку палкой не выгонишь.

Мама говорит, что он у нас моряком будет. Уж так любит воду, так любит... Барахтается, пока не посинеет. Дрожит, а все в воду просится.

- Иче, Кап. Иче.

А у самого от озноба все тело в пупырышках, смех. Улыбнешься, а он и рад - бултых в воду. Вытащишь его за руку: присядет на корточки, дрожит.

- Накупался ли?

- Го-о-оже, Ка-а-а-п.

После купанья я расстелила у сарая на солнышке старенькое одеяло. Мы легли на него и уснули.

Вечером я узнала все наши деревенские новости.

Колька работает вместе с отцом на тракторе. Говорят, что он несколько раз проезжал по деревне самостоятельно - без отца, но с тех пор, как своротил у Синицыных плетень, отец запретил ему ездить по деревне.

Шурка работает на лошади. Мои подруги - в огородной бригаде. Пастух дед Григорий, что пас маминых телят, заболел вскоре после моего отъезда. Тяжело, говорят, заболел, в город его увезли - на операцию.

Телят пасет мама с Нюркой. Теперь и мне придется пасти.

Пастушка.

А что поделаешь? Не бросишь же телят, а пасти их никто не соглашается. Мама тоже не соглашалась. Тяжелая эта должность.

Председатель маму уговорил.

"До осени, - сказал, - со своими девчонками попасешь, а там кого-нибудь в подпаски найдем".

Пастушка...

А что поделаешь, телята-то не виноватые, пасти-то их кому-то надо. Ладно уж, как-нибудь перемаемся, перетерпим.

Вот только Шурка, наверное, ни за что теперь меня не полюбит.

У него тоже несчастье. Его отец, дядя Афанасий, от вина, говорят, умом тронулся. По лесу все бродит - ищет чего-то.

Еремей на пустыре за деревней начал строить большую новую избу. Болтают - задумал жениться. И на ком... На нашей маме. Чего только люди не придумают. Жениться... На ма-ме...

Меня это даже рассмешило. На маме...

Я обмерла. А вдруг говорят правду?

Нет! Нет! Зачем это?.. Для чего?.. А папа?

Папа... Папочка.

Из ночной темноты на меня смотрели грустные глаза отца. Он сидит за столом, чистит картошку, помогает маме стряпать. По утрам он всегда помогал маме стряпать. Мама суетится у печки. Лицо у нее от огня румяное, веселое. Нож застывает у папы в руках, картошина падает на стол. Папа долго, печально смотрит на маму. Я кутаюсь в одеяло. Я замираю.

Папа...

Уже лежа в постели, я спросила маму:

- Мам, что это за сплетни ходят по деревне?

- О Еремее, что ли?

- Да.

Мама вздохнула:

- На чужой, дочка, роток не накинешь платок.

- Значит, это правда?

- О чем ты?

- Что Еремей жениться хочет?

- Я этого не знаю. Шли мы как-то мимо его сруба - он возле стоял. Посмеялся, спросил меня: "Как, Агриппина, нравится?" - "Что ж, говорю, изба выйдет ладная". - "А хозяйствовать, говорит, не согласишься в ней?" "Премного, говорю, благодарна за приглашение. У меня своя есть. Маленькая, полна ребятишек, веселая". Он улыбнулся: "Для того, говорит, я ее и строю, большую..."

Мама помолчала.

- А на другой день пришел к нам, под вечер. Скотину уж пригнали. Мы ужинали. Вошел, фуражку снял, поклонился. "Хлеб да соль". - "Садись, говорю, с нами". Сел он, похлебки похлебал, кашу не стал есть. Отодвинул ложку, переждал ужин и говорит: "А я ведь, Агриппина, давеча тебе не зря сказал". - "О чем?" - спрашиваю. "Да все, говорит, о том же". - "Да что ты, говорю, Еремей Николаич! На кой, говорю, тебе такая орава?" - "Она-то,

говорит, Агриппина, мне и нужна".

Поняла я его. Одиноко ему одному. Да ведь что поделаешь? У кого уж как судьба сложится. Подошла я к стене и будто ненароком протерла концом полушалка увеличенный портрет отца. В тот момент Петровна в избу вошла. Еремей поднялся, надел фуражку и молча вышел.

А она проводила его усмешечкой и спрашивает: "Ты, никак, новой посудиной обзавелась?" И все поглядывает на ведерко, которое Еремей у порога оставил. Наклонилась, открыла, увидела, что оно полно до краев меду... От нее и поползли по деревне слухи.

Мама повернулась на бок, ласково похлопала меня по плечу:

- Спи, нехай болтают. На днях мне отец приснился. Будто копаем мы с ним на колхозном поле картошку. Поле большое-большое, а мы одни. Тепло, небо синее-синее. Паутинки в воздухе плавают. Отец будто в новой ситцевой рубашке. Говорит мне: "Я, мать, пойду костер разведу". А я спрашиваю: "Зачем, отец, и так теплынь". Он улыбается: "Картошки, говорит, в золе напеку. Ты, говорит, в девках печеную картошку любила". А я ее и правда до страсти любила.

Мама погладила меня по волосам.

- А ведерко ужо занесешь Еремею.

- С медом?

Мама засмеялась:

- Зачем? Мы его почти съели. А на меня ты уж не серчай, дочка.

- За что, мам?

- Пасти-то я согласилась. Знаю, не хочется тебе. Ты уж у меня взрослая - невеста. Ну да ведь упросили... Телят, доченька, жалко.

Я вздохнула и ничего не ответила маме.

Конечно, жалко.

- А что ты приехала пораньше - спасибо, дочка. Замаялись мы с Нюрашкой. И огород от травы чахнуть начал. Теперь у нас одни руки свободными будут. Дня три мы с тобой попасем: ты привыкнешь, пастбище узнаешь, а Нюрашка пока отдохнет - побегает. Потом увидим. Огородом кому-то придется заняться.

* * *

Выгоняли мы стадо рано.

Пасли в лесу возле заболоченных низин. Тут и трава высокая, сочная, и вода в лужицах. Ешь и пей.

Поначалу, кто не знает, кажется, что пасти - плевое дело. Ходи себе день-деньской за стадом, песни пой, птичек слушай, грибы-ягоды собирай. Устал - посиди на пеньке или полежи на мягкой мшистой полянке. Благодать! Но это только кажется.

Телята что люди, у каждого свой норов. Я их быстро изучила.

Восход - бычок спокойный, послушный. Бродит по лесу, траву щиплет. Надоест - постоит, подремлет. Ничто его не интересует, ничто не волнует. Думается, выстрели у него над головой - он и ухом не поведет.

Красавка - любимица наша, гладкая длинноногая телочка, - робкая, пугливая. Она не столько траву щиплет, сколько стоит и, навострив уши, прислушивается к каждому шороху. Пискнет в ветвях птица, она запрядает ушами, затопочет копытами - и к нам. Так рядышком и пасется.

Модник - толстолобый, с белым галстуком на груди - любознательный. Ему каждый кустик надобно обнюхать, в каждую лужицу носом ткнуться. За ним глаз да глаз нужен. Он и минуты не постоит спокойно.

Разношерстные Чуй и Гуй - вон, что рогами сцепились, - драчуны, сладу никакого нет. Маленькие, а не подступись, чуть кто подойдет - морду к земле и рогами в бок. Их все стадо сторонится, а им и горя мало. Отстанут и пробуют силу - бодаются меж собой.

А вот этот рыжий дьявол, что у куста стоит, - наши слезы. Как ни гляди за ним - не углядишь. Черт, а не теленок. Только бы по кустам и шастал. Никак не может он пастись со всеми вместе. Бродяга-одиночка. Убежит - и разыскивай его. Однажды мама с Нюркой с ног сбились. Охрипли от крика. А он возле двора в загоне полеживал. И это еще хорошо. А сколько раз он в лесу ночевал? Горе-горькое. Мама жаловалась на него председателю Ивану Кузьмичу. А что он сделает?

"Дьявол, - говорит, - с ним. Пропадет так пропадет. Авось остепенится".

А он и не подумал. В первый же день моего пастушества удрал и как сквозь землю провалился. Два дня нигде не могли найти. На третий пришел, да не один - с товарищем. С маленьким лупоглазым ушастым лосенком.

Вечером, когда мы пригнали стадо домой, я напоила лосенка молоком. К загону посмотреть на нашего гостя со всей деревни сбежались малыши. Подошел председатель.

- Ну вот, Агриппина, а ты расстраивалась. Растет поголовье-то, а не уменьшается.

- Не бай-ко, Иван Кузьмич, - засмеялась мама. - Нашему рыжему лешему, видать, все звери родственники. Хорошо, не медведя привел.

Нюрка не отходила от лосенка. Он ей так понравился, что она готова была увести его домой. И лосенок пошел бы за ней.

Мама не позволила.

- Все одно он будет мой. Ладно, мам?

- Твой, твой.

На следующий день мы выгнали стадо с Нюркой. Мама осталась дома полоть огород.

Утро стояло прозрачное, тихое.

Высокое небо, как стеклышко, чистое. Лишь на западе, у самого горизонта, лениво паслись белые барашки облаков. Над лугами клубился пар. Пахло росной свежестью и спелой травой. Звенели серебряные колокольчики жаворонков.

Далеко-далеко на зеленом поле, будто черный жук, ползал и сердито урчал трактор.

Нюрка, радостная, шла по пыльной дороге. Лосенок доверчиво топал за ней. Нюрка то и дело угощала его хлебным мякишем и вслух мечтала о том, какой он к зиме вырастет большой и как она станет впрягать его в санки и, на удивление всем, кататься по деревне и ездить в рощу за дровами.

- А чем ты, Нюр, кормить его, такого большого, будешь?

- Чем?

Нюрка задумалась и вдруг запрыгала, засмеялась:

- Глупая ты, Кап. Лосей не кормят, они сами кормятся. - Нюрка погладила лосенка по сероватой голове. - Правда, миленький? На ночь ты станешь уходить в лес кормиться, а днем, когда я тебя покличу...

Нюрка снова задумалась.

- А как я его назову? Буланый? Нет. Чалый? Нет. Дымок... Ага... Дымок.

Нюрка обняла лосенка за шею.

- Слышишь, Дымок? Когда я крикну тебе: "Дымок молодой, встань передо мной, как пень перед сосной!" - ты прибежишь ко мне. Прибежишь?

Лосенок прижал уши, забеспокоился. Мотнул головой, прыгнул в сторону, замер. Потянул ноздрями воздух, неумело мыкнул.

- Ты что, миленький, что ты? - протягивая к лосенку руки, успокаивала его Нюрка.

Повернулась к лесу, куда смотрел ее любимец, и с ужасом бросилась ко мне.

На опушке совсем недалеко от нас, блестя на солнце круглыми боками, стояла большая, сильная лосиха.

Лосенок скакнул и, радостный, широко запрыгал к опушке.

Взволнованная лосиха шагнула ему навстречу.

Вот они припали голова к голове, ласково лизнули друг друга и, счастливые, зашагали к лесу.

- Это, Кап, мама его?

- Мама, Нюр, мама.

Из леса доносилось потрескивание сучьев. Дальше, дальше. Тишина.

- Вот и растаял, Нюр, твой Дымок.

Нюрка вздохнула:

- Ему, Кап, лучше будет с мамой.

Подул ветер.

Стадо облаков, что паслось у горизонта, разбрелось по всему небу.

Одно облако, похожее на рогатого седого барана, бодало солнышко.

Телята один за другим тонули в сосновом бору. Запахло разогретой хвоей и смолой.

И Нюрка сразу же забыла о своем лосенке. В лесу у нее оказалось великое множество друзей.

Под корявым можжевеловым кустом она показала мне маленькое гнездышко, в котором широко разевали желтоватые клювы, отчаянно барахтались и пищали беспомощные птенцы.

- Это, Кап, снегирята. Я и снегиря видала.

Нюрка покормила птенцов хлебными крошками и заботливо укрыла гнездышко ветками.

- Идем. Только тихо-тихо.

И Нюрка, высоко поднимая колени, осторожно зашагала к старой увядающей сосне.

- Во-о-он видишь дупло?

- Где?

- Во-о-он у развилки.

- А-а-а... Вижу.

- Там белка живет.

Нюрка приглушенно пощелкала языком.

Подождала, снова пощелкала. Из дупла высунулась усатая мордочка.

- Что, видала? А сейчас я тебе покажу громадный городище-муравьище. Но, чур, не сердить их. Они не любят, когда их сердят. Кусаются.

На опушке небольшой солнечной полянки, вокруг высокого березового пня, вздымалась коричневая папаха муравейника.

- Кап! - испуганно вскрикнула Нюрка и схватила меня за рукав. Осторожнее, у них тут дорога. - Нюрка присела на корточки. - Смотри! Смотри!

В редкой лесной траве, огибая сучья и палки, пролегала утоптанная, еле заметная муравьиная тропа, по которой беспрерывной вереницей туда и сюда, как на шоссейной дороге машины, сновали рыжеватые муравьи.

- Не туда гляди. Вот куда.

Чуть в сторонке, по направлению к тропе, два муравья волокли непомерно большую для них зеленую вредительницу лесов - гусеницу.

- Вот силища! Да, Кап? Нам бы такую, сразу бы целую бочку воды можно домой принести.

- Давай, Нюр, поможем им.

- Не надо, они сами. Идем.

Когда мы поднялись, Нюрка украдкой от меня достала из котомки, где лежал наш обед, кусочек сахару и положила его на муравейник.

Я сделала вид, что не заметила, и Нюрка, довольная, повела меня знакомиться с семейством ежей.

- А наши телята, Нюр, не разбредутся?

- Не-ет, это по пути.

В мелком березняке, что взбежал на пригорок, Нюрка, показав мне на кучу сухого хвороста, шепнула:

- Здесь.

На земле стоял с обитыми краями глиняный черепок.

Нюрка налила в него молока. Мы спрятались. Через малое время из-под хвороста показался острый носик с черными бусинками глаз.

Нюрка приставила палец к губам - не шуметь. Я затаила дыхание.

Носик фыркнул и быстро-быстро побежал к черепку, следом за ним покатились два крохотных серых клубочка.

Мимо нас прошел теленок. Ежи нырнули под хворост. В полдень, когда мы пригнали стадо к озеру, выкупались и поели, Нюрка показала мне, где живет ее знакомый уж, но его не оказалось дома.

- Разбойник, - смеялась Нюрка, - никогда не застанешь на месте... А сюда, Кап, не подходи.

Нюрка боязливо обошла горбатый пень, вцепившийся в прибрежную землю оголенными черными корнями:

- Под ним, Кап, живет страшная жаба. От нее заводятся на руках бородавки.

По лесу раскатилось далекое эхо. Мы прислушались. Гром. Оглядели небо, успокоились, погнали стадо пастись. И вдруг лес замер, оглох, помрачнел. Солнце и тьма. И нас и телят охватила тревога. Телята перестали щипать траву, беспокойно застыли. На деревьях не шелохнулась ни одна ветка, птицы смолкли, трава поникла. Тихо, подстерегающе заурчал гром. И снова ни звука.

Гроза...

Мама наказывала: в грозу гоните телят в мелколесье. В бору

убить может.

- Нюрка, гроза!

Мы засуетились, забегали.

- Но!.. Но!.. Шевелись! Нюрка, не пускай их в ельник. На порубку, в мелкий березняк заворачивай, на порубку. Но!..

Солнце скрылось, мрак загустел.

- Но!.. Но!..

"О!.. О!.." - глухо отзывалось в лесу эхо.

Порубка. Успели.

Я смахнула с лица пот, поправила волосы. По вершинам деревьев пробежал ветерок и сник. Послышался далекий шум. Горизонт осветила широкая молния.

Шум приближался, нарастал и вдруг обрушился неистовым шквалом ветра. Лес зашатался, заскрипел. Мелкий березняк затрепетал, пригнулся от страха к земле. Телята сбились в кучу. Сизая туча над порубкой заворочалась, распалась на лохматые облака, забурлила. Облака наскакивали одно на другое, ломались, тяжело переворачивались и, подпираемые сплошной темной стеной второй тучи, плыли вперед.

Ветер ревел. Спрятавшись за гнилой поленницей дров, мы с Нюркой с ужасом следили за небом. Молнии сверкали все ближе и ближе.

Неожиданно ветер стих. Упали крупные холодные капли дождя. Мы прижались к поленнице. Кривая молния, шипя, вонзилась в дальнюю опушку порубки. Долго-долго тянулась зловещая тишина. Сухой, как выстрел, треск и на деревья с грохотом посыпались железные обломки. С радостным визгом и свистом откуда-то выскочил ветер. Вцепился в распущенные косы одиноко стоявших на порубке старых берез. Затрепал, закачал непокорных. Хлестнул колючей лавиной дождя с градом.

Я прикрыла Нюрку собой.

- Ты только не пугайся, Нюр. Не пугайся.

А сама никак не могла унять дрожь.

- Это только дождик, Нюр, дождик.

Сверкнула ослепительная молния. Удар...

- Капа! Капа!

Я очнулась.

Я лежала на земле. Нюрка, глотая слезы, тормошила меня за плечи. В лицо хлестал дождь. В голове звенели колокольчики. Я испуганно вскочила. В нескольких шагах дымилась сваленная молнией сучковатая сосна.

Я огляделась. Телята...

- Где телята?!

- У-у-у-убежали. В-в-в лес, - всхлипнула Нюрка.

Сквозь шум дождя и ветра до нас долетел чей-то слабый голос. Я стиснула виски ладонями, звон в голове утих.

- Ню-ю-ра! Ка-па-а!

Мама.

- А-а-а-а! - радостно закричали мы в два голоса и кинулись к ней навстречу.

- О господи!.. Как вы тут?

Мы молчали.

- Ничего, ничего. Живы - и слава богу. Гроза-то, гроза-то какая.

Мама говорила и кутала нас под крылья широкого папиного плаща. В мокрых, растрепанных волосах, прилипших ко лбу и вискам мамы, запуталась паутина. Я хотела ее снять и тревожно отдернула руку обратно. Седина...

Как же я не замечала ее раньше?

- Мам, а Капу...

Я похолодела. Сейчас брякнет: оглушило громом. Я погрозила Нюрке пальцем и торопливо сказала:

- А лосенок-то, мам, ушел.

Нюрка подхватила:

- За ним, мам, мама пришла. Большая, ногастая, больше коровы.

- Ну и хорошо. Уляжется дождь, соберем телят и погоним домой.

Редко-редко полыхали молнии. Неохотно, устало гремел гром. Туча рыхлела, расползалась, ветер стих, дождь мельчал.

Над дальним углом порубки проклюнулась узкая щель прозрачной синевы. Завиднелось мутное пятно солнышка.

В глубине леса заработал-застучал дятел. Пискнула синица. Возле нас из-под куста выпорхнула серая пичуга, села на ветку сосны, отряхнулась и переливисто засвистела.

- Ожила, - улыбнулась мама.

"Му-у-у!" - громко, обиженно замычал теленок.

Мы с Нюркой выскочили из-под плаща. Однако радость наша была преждевременной. В стаде не хватало пяти телят!

- Кап, а не убило ли их там громом?

Я метнулась на порубку, на то место, где стояли телята во время грозы.

Опаленная молнией сосна, поленница дров, молодая березовая поросль. В старых ботинках чавкала вода. Низина. Телят - ни живых, ни мертвых. Значит, убежали. Влезла на поленницу, оглядела порубку.

Голос мамы:

- Не видно?

- Нет.

Вернулись к стаду.

- Гоните домой, - сказала мама, - а я пойду искать.

По деревьям полыхнуло солнце.

- Я тоже пойду искать, - сказала я.

- Нет, нет. Ты сырая вся. Может, они сами пришли ко двору, тогда прибежишь, покличешь.

Я не послушалась бы, но во мне затеплилась надежда, что телята убежали домой.

Пропавших телят у двора, понятно, не было.

Я сходила домой, переоделась, наказала Нюрке привести из яслей Сергуньку с Мишкой и снова побежала в лес.

Солнце опускалось к горизонту. Я торопилась, до опушки шла босиком. Хорошо. Мокрая трава, лужи - все нипочем.

В лесу обулась, колко. Затрещали кусты, я схоронилась за дерево. Два теленка, а за ними мама. Усталая, измученная.

Мамочка...

Мне хотелось кинуться к ней, обнять ее, пожалеть, приласкать, но я сдержалась. Я знала, что мама заставит меня гнать телят в деревню, а сама повернет в лес. Будет уверять, что она не устала, что у нее совсем не болят ноги, что она пойдет только вон в тот ельник, посмотрит и быстренько возвратится.

Нет уж, не обманешь. Гони своих телят домой, отдохни, а я разыщу остальных. Не тревожься, мама, я обязательно разыщу...

Чу, хрустнул сук. Чу, кусты зашеберстели.

Телята... Нет. То либо заяц пробежал, либо грузный тетерев вспорхнул.

Замрешь, не дышишь. Снова хруст, бежишь туда. Напрасно.

Все тот же лес. Стоит, притиснул тишину.

Гудят ноги.

Куда еще идти? Куда?

От досады слезным голосом кричишь:

- Буренки! Буренки!

Кричи. Голос вызвенит бор, помечется по сумрачным чащобам и к тебе же ни с чем возвратится. А деревья-великаны молчат. Может, и знают, может, и видят со своих зеленых колоколен, где телята, а не скажут. Шепчутся меж собой, а попробуй подслушать - рассердятся, зашумят или захохочут, заухают филином. Мороз по коже. Нет, лес в одиночку слушать жутко.

Дорога. Заросшая, старая дорога. Пора домой. Сторожка лесника Еремея. Открытое окно, в окне свет, в комнате двое.

Еремей и Шуркин отец дядя Афанасий. Еремей стоит, прислонившись спиной к печке. Шуркин отец сидит на лавке у

окна и, уронив голову на стол, плачет.

- Да-а-а-а... - тяжело вздохнул Еремей, сдвинул лохматые брови, прошелся к порогу. - Я давно догадывался об этом.

Я осторожно шагнула поближе к окну.

- О-о-о!.. - застонал дядя Афанасий.

Над моим ухом тонко-тонко пищал комар. В горле першило, и я, чтобы не кашлять, часто глотала слюну.

- Да-а-а... - опять вздохнул Еремей. - Как же это ты?

- Не знаю, струсил, - всхлипнул дядя Афанасий. - Жить, проклятому, захотелось.

Он приподнял лохматую голову, и я на миг увидала его бледное, искаженное лицо.

- Жить...

Дядя Афанасий стукнул кулаком по столу, замотал головой и снова заплакал.

- Жить.

Еремей угрюмо ходил по комнате.

- Они тоже хотели жить. А Васятка... Помнишь? Он был совсем мальчонкой.

Дядя Афанасий задрожал, вскинул голову, истошно закричал:

- Молчи! Они измучили меня. Они ни днем, ни ночью не дают мне покоя!

Шуркин отец вдруг свалился на пол, пополз к Еремею на четвереньках.

- Убей меня! Убей! Прошу! Слышишь, убей!

Еремей испуганно прижался к печке, оттолкнул Афанасия сапогом:

- Уйди.

Шуркин отец пошатнулся, встал на колени. Рванул на себе рубаху, с треском разлетелись пуговицы. Поднял к Еремею заплаканное, небритое лицо:

- Убей! Сними с моей души камень.

- Нет, гад, живи! Мучайся.

Афанасий вскочил, схватил со стены ружье, трясущимися руками взвел курок, сунул ружье в руки Еремея.

- Стреляй!

Еремей отбросил ружье на кровать, плюнул.

- Мразь!

Афанасий метнулся к кровати, снова схватил ружье, поставил его на пол, наклонился лицом к стволу.

Я вскрикнула и зажала лицо руками.

Сухой щелчок курка. Ружье не заряжено.

Афанасий отбросил ружье в угол, дико взглянул в окно, сгорбился и выбежал из избы.

У меня от страха дрожали колени. Я прижалась к углу сторожки. Бежать, бежать. А ноги не двигались.

Ко мне подошел дядя Еремей.

- О-о-!.. О-о!.. - стонал в лесу Афанасий.

Дядя Еремей положил мне на плечо свою тяжелую руку. Я дрожала.

- Испугалась? Пойдем, я тебя провожу.

Шли мы медленно, дядя Еремей молчал и курил.

Впереди нас бежала собака. Когда дядя Еремей останавливался прикурить, она тоже останавливалась, смотрела на него - ждала. Под ногами кое-где хлюпали лужи.

Мне хотелось о многом спросить у дяди Еремея, но я до самой околицы не проронила ни слова.

- Тут одна добежишь.

Дядя Еремей бросил окурок, придавил его сапогом, спросил:

- Ты все слышала?

- Я нечаянно, дядя Еремей... У нас телята пропали... Я искала.

- Ты все поняла?

- Да. Он предал партизан.

- Об этом, дочка, надо молчать.

- Почему, дядя Еремей?

- Его за давностью простят. А у него есть дети - сын и дочь. Пятно предателя ляжет на них, грязное, тяжелое пятно. Оно будет мучить их и испортит им всю жизнь. Поняла?

- Поняла, дядя Еремей.

- Я давно догадывался, что он предатель, но молчал. Молчал из-за его детей. И ты молчи. Афанасий конченый человек. Его терзает совесть. Он глушит ее вином. А пьяного его обступают сожженные партизаны, и ему кажется, что они ведут его на расстрел. Он сам мне об этом плакался. Он долго не проживет. - Дядя Еремей сердито сплюнул. - Туда ему, подлецу, и дорога!

Помолчал.

- Ну беги. И забудь обо всем. Ты ничего не видела и ничего не слышала.

Забудь... Как будто это так просто.

Я всю ночь не могла уснуть.

Дядя Афанасий - предатель. Шуркин отец... Как же это? Он же наш, советский человек. Дядя Еремей мог сделать это от обиды. Но он не сделал. Он воевал, до Берлина дошел. Как, поди, ему трудно было. Интересно, что он сейчас делает? Спит? Нет. Лежит на своей кровати и думает. О чем? Он, наверно, много думает. Я где-то читала: одинокому думы - отрада. Отрада, если думаешь о хорошем. А о таком... А ведь дядя Афанасий неплохой человек. Непьяный - он стеснительный, молчаливый и добрый. Когда папу

хоронили, он плакал. Он потом и подтопок нам бесплатно переложил, и крест на могилу сделал, дубовый, крепкий. Покосился он только немного.

Предатель...

Как же это? Папа с Афанасием были товарищами. Когда папа лежал больной, дядя Афанасий часто приходил к нам. Они разговаривали о колхозных делах, а о войне не говорили. Папа не любил говорить о войне. Но однажды папа все-таки рассказал, как его, раненного, вынес из немецкого тыла тоже раненый товарищ. Кругом было поле. Кругом были немцы. Товарищ волок папу на своей шинели. Волок по оврагу, заросшему колючками и репейником. За оврагом лопотали фашисты. Папа хорошо их слышал и все-таки стонал. Тяжело был ранен - в грудь. Но товарищ не бросил его. А чтобы папа не стонал, заткнул ему рот отрезанным от шинели рукавом.

А если бы с папой был дядя Афанасий?

Я на миг увидела наш овраг. Папа лежит кверху лицом. К нему подходят немцы, с автоматами, с ножами.

Я стиснула зубами край одеяла.

Предатель.

- Капа, ты не спишь?

- Нет, мама.

- Чего это в лесу произошло?

- Я не знаю, мам.

- Как не знаешь?

- Не знаю.

- Афанасий давеча прибежал из лесу и орет на всю деревню: убийца, убийца! Капа видела.

- Я ничего, мам, не видела.

- Я так и подумала: болтает. Совсем, господи прости меня, спятил.

Я съежилась и зарылась головой в подушку.

Нет, мамочка, не спятил. Испугался. И в тот раз, когда папа рассказывал, он быстро ушел от нас. Ушел расстроенный, хмурый.

А Шурка? Может, и он такой же?

Нет. Нет-нет. Шурка не выдаст товарища. Когда они с Колькой спалили сарай, он написал Колькиным родителям записку. Написал, что он один виноват.

Шурка не такой. Мама говорила, что дядя Афанасий в парнях был тихий, робкий. А Шурка смелый, отчаянный.

А вдруг... Ведь он любит отца. Нет. Он любит отца за то, что он был партизаном.

Партизаном...

- Эх, Шурка, Шурка...

- Кап... Ты что, дочка?

Я не отозвалась, притворилась спящей.

- Бредит. Неужто и впрямь в лесу что случилось?

Заскрипела кровать. Шлепая босыми ногами по полу, мама прошла на кухню. Попила воды, легла, успокоилась.

Не спит. О телятах думает. Найдем ли мы их завтра? Мама сказала найдем. А сама не спит.

А если Шурка узнает про отца?.. О... Он бешеный. А узнает он обязательно, у нас в деревне ничего не утаишь. Что тогда будет? Шурка... Он ни за что не останется в деревне. В разведчики готовится. Руку иголкой протыкает, немецкий учит.

Он убежит. И я бы убежала. Позор-то какой... Позор...

Но я, Шурка, все равно буду тебя любить. Что, ты виноват, что ли? Ни крошечки.

А если мама выйдет замуж за дядю Еремея, как мы его звать будем? Я зажмурилась.

Дядя Еремей в нашем доме. Большой, угрюмый. Ходит, задевает головой за матицу. Половицы скрипят. В доме тесно, хмуро.

Я улыбнулась.

Папа был легкий. Хоть и хворый, а веселый. С ним в доме было и светло и уютно.

Не поженятся они.

Нам и так хорошо. Нам... А ему?

Вот не было бы у меня никого-никого. Ни мамы, ни Нюрки, ни Сергуньки с Мишкой...

Я долго всматривалась в темноту и неожиданно для себя спросила:

- Мам, а ежели бы дядя Еремей снова посватался, ты бы поженилась с ним?

Мама тихо ответила:

- Ни к чему все это, дочка. Не надо об этом.

И глубоко вздохнула. И я вздохнула.

Шурка вечерами больше не приглашает меня прогуляться вдвоем по улице. Один разочек пригласил, а больше нет. Не соскучился, видно, он по мне, пока я была в пионерском лагере.

И Колька ко мне не подходит. Некогда Кольке, они с отцом на тракторе до глубокой ночи в поле. Колька загорел и похудел. И не удивительно. Я ложусь спать, а их трактор еще шумит, а утром, когда мы выгоняем стадо, Колька с отцом уже на тракторе катаются по полю. Чумазый Колька, а руки страх глядеть. Говорит, не отмываются, в кожу, говорит, мазут впитался.

Ничего, за зиму отчистятся.

А еще Колька ко мне не подходит - Шурки боится. Избил его

Шурка. Избил за то, что мы с Колькой однажды в воскресенье вечером на озеро на рыбалку ходили.

Шальной. Разыскал нас. Меня домой прогнал, а Кольку избил. А сам не догадывается, глупый, что я и на гулянье-то хожу только ради него. И пляшу и пою для него. Все видят, а он не видит.

Плохо быть девчонкой.

Жди, когда к тебе подойдут. Гадай: подойдет, не подойдет. Мучайся, томись, а сама подойти не смей.

Стоят девчонки на гулянье табунком в сторонке и тайно соревнуются между собой. Ревниво переглядываются, злословят в душе, завидуют.

А мальчишки... Рванет Шурка гармонь, запоют они озорные частушки и уйдут в соседнее село.

Будто там им веселее, будто там девчонки лучше, будто там их медом кормят.

К Розке, как и прошлый год, из города дачники приехали. Ее двоюродные сестры: Алка да Галка. Обе в модных сарафанах, прически - загляденье. Алка еще ничего. Она постарше Розки и лицом шадривая, а Галка нам ровесница и уж очень красивая. Как нарисованная.

На гулянье они пока не ходят, у мазанки сидят. А вот погоди, пойдут. Чего им делать-то? Днем станут спать до обеда, затем у пруда нагишом валяться - загорать, а ночью гулять до рассвета.

Влюбится мой Шурка. Ой, боюсь, влюбится! Он вертлявый.

Предатель.

Я вздрогнула. Нет, Шурк, я не о том, ты за отца не ответчик. Я потому, что у нас с тобой уговор был. Помнишь? Ни с кем не дружить. Тебе с девчонками, мне - с мальчишками. Держи свое слово.

И почто они повадились в нашу деревню? Словно валяться голым другого места нет. Ехали бы в лагерь.

Ну ничего. Через несколько дней начнется сенокос, и Шурка - он на лошади работает - на две недели уедет в луга.

Хорошо бы и мне уехать в луга. Только вряд ли отпустит мама. Я повернулась на бок, светает уже. Попрошусь. Не утром, а когда пропавших телят найдем. Она подобреет.

Я закрыла глаза. Задремала... Смотрю, телята. Все три. Дядя Еремей их гонит. Молодой, веселый, улыбается, говорит: "Твой Шурка - парень ничего, толковый..."

Проснулась. Мама.

- Пора, дочка.

* * *

Сон в руку оказался. Дядя Еремей нашел наших телят. И был

он такой же, как во сне, веселый. Сидел у порубки на толстом пне, смотрел на мамину радость и улыбался.

Я подбежала к нему, обняла его.

Он смутился:

- То не я, - и погладил лежащую рядом собаку.

Цыган лениво поднялся, обнюхал меня, лизнул мою руку и снова лег к ногам хозяина.

Дядя Еремей заговорщически подмигнул мне:

- Узнал. Он друзей сразу распознает.

Я посмотрела на маму и вдруг сказала:

- Мам, а можно мне на сенокос?

- Ты что, дочка, а пасти?

- У-у, Капа, какая хитрая, - насупилась Нюрка.

- И не думай.

- И не думай, - повторила Нюрка. - Мы, что ли, опять с мамой вдвоем?

Я помрачнела, мне было обидно.

- Да, - крякнул дядя Еремей.

- Не могу я, Еремей Николаевич, - оправдывалась мама.

- Отпусти. Вишь, как девчонке хочется!

- Да ты что, смеешься?!

- Нет, зачем же. Я замену тебе дам. Получше.

Дядя Еремей наклонился, ласково потрепал лохматую голову Цыгана.

- Вот этой собаке цены нет. Я ее выменял у вередеевского пастуха на стог сена. Он, когда отдавал, плакал.

Дядя Еремей посидел, подумал.

- Ну как, отпустишь?

Мама шутя махнула рукой:

- Сбежит от меня твой пастух.

- Не сбежит. Он у меня умница.

Дядя Еремей встал, подошел к маме, взял ее за руку.

- Цыган, хозяйка.

Собака покорно легла у маминых ног.

- Цыган, пас!

Собака вздрогнула и широкими скачками побежала к стаду. За минуту собрала телят в тесный табун, легла в стороне на бугор. Восхищенная Нюрка кинулась к Цыгану, села возле него, залебезила, крикнула маме:

- Отпусти ее, мам!

Вместо мамы ответил дядя Еремей:

- Поезжай. Я помню, в детстве сенокос для меня был праздником. Тяжелым, но счастливым, светлым праздником.

Я радостно закружилась.

Сенокос. Травяной дурман. Душистые шалаши. Общеколхозный обед. Вечерами костры, игры, шутки, смех. Я еду, Шурка, еду, еду! И сникла. Прильнула к дереву. Из леса на порубку вынырнула высокая, сгорбленная фигура дяди Афанасия. Собака затявкала. Нюрка подбежала к нам.

- Все бродит, сердешный, - проговорила мама. - Все ищет.

- А чего он ищет, мам? - прошептала Нюрка и подняла спрашивающие глаза к дяде Еремею.

Я затаила дыхание.

Что он скажет?

Дядя Еремей дружелюбно посмотрел на меня, улыбнулся:

- Кто его знает. С дурака спрос, что с гумна покос.

Достал из кармана папиросу, прикурил, старательно заплевал спичечный огарок, взглянул из-под ладони на солнце, сказал:

- Однако я припозднился.

И ушел.

В воскресенье я готовилась к сенокосу. Мама отпустила меня. Пасти с собакой легко.

Правильно говорил дядя Еремей - Цыган умница. И знает пастушье дело лучше нас троих. Телята боятся его и слушаются, от него не убежишь. Рыжий блудня попробовал - Цыган так надрал ему хвост, что с тех пор он как шелковый, на край табуна не выходит, в середине пасется, а как гавкнет Цыган - вздрагивает.

А Нюрка... Нюрка души не чаяла в Цыгане. Делилась с ним каждым куском хлеба. Мыла его в озере, старым гребнем расчесывала его длинную шерсть, играла с ним в прятки. И как только не ласкала его!..

Зато в полдень, когда Нюрка, разморенная жарой, утомленная, засыпала под деревом в холодке, Цыган чутко сторожил ее. И даже, как человек, осторожно спугивал с ее лица мух своим шершавым черным носом.

И вообще Цыган в нашей семье стал общим любимцем.

Мишка с Сергунькой в ясли по утрам уходили со слезами - все просились в лес: пасти с Цыганом стадо.

Я сходила к плотнику дяде Степану, получила новые грабли, сухие, легкие.

Погладила свое любимое коричневое в белый горошек платье, надела его. Повязала мамину, она разрешила мне, шелковую косынку. Долго стояла перед зеркалом, прихорашивалась.

А как же? На сенокос все, даже старухи, одеваются по-праздничному нарядно.

Сняла зеркало со стены, поставила на пол... И... лучше бы не

снимать. Платье оказалось чуточку коротким. Но это ерунда. Из-под платья торчали угловатые костлявые коленки. И ноги были дочерна загорелые, сухие и твердые. Совсем не девчоночьи ноги. Я попробовала растереть коленки руками. Но разве кости разотрешь. Коленки покраснели и выпирали еще заметнее.

Я повесила зеркало обратно. Посмотрела на свои ноги, ощупала их. Коленки как коленки, у всех такие.

Но я лгала. Обманывала сама себя, успокаивала. Я знала, что ноги не у всех одинаковые.

У дачницы Галки коленки не торчат, у нее на коленках, когда она стоит, ямочки. И ноги белые, мягкие.

И еще беда: чего обуть?

Белые туфли? Их испортишь, исцарапаешь да исколешь о кошеную траву. Ботинки, в которых пасу стадо? Тяжелые они и расползлись после дождя, как лягушки. Стыдно в них.

Полезла на чердак, куда мы забрасывали изношенную обувь. Может, чего подберу.

Пыльно на чердаке. Ботинок, туфель, сандалий и калош - как в магазине. Выбирай. А выбрать нечего. Все засохшие, заскорузлые, растрепанные. Одну туфлю на правую ногу подобрала. Красивую и крепкую. Вторую никак. Облазила весь чердак, нет подходящей. Хоть плачь - нет, и все. Нашла похожую, в самый раз по ноге, но с ремешком и черную, а не красную.

Обулась и захохотала:

- Как скоморох.

А если покрасить? А чем? Сгребла с трубы сажу. Поплевала на туфлю, потерла сажей - красит. А потом облезет. Чернилами? Черными чернилами.

Хорошие туфли получились, почти как новые. Ремешок с левой туфли обстригла.

Прошлась по комнате. Чудесно. Взглянула на часы и обмерла: полдень. Схватила зеленую кофту, грабли, побежала к правлению колхоза. Никого. Уехали.

У крыльца дремала запряженная в рыдван лошадь.

Из-за угла правления вышел Шурка.

- Явилась. - Повернулся, крикнул: - Ягодники, поехали!

Выпорхнули городские модницы - Алка и Галка, с кузовками. Сели на рыдван, переглянулись, захихикали.

- Чего стоишь, садись, - недовольно бросил Шурка и сердито дернул вожжи. - Все на машинах уехали, а тебя жди.

- А они?

- Им на лошади захотелось прокатиться. А тебе лучше бы на машине.

- Откуда ты знаешь, на чем мне лучше? - усаживаясь в

рыдван, ответила я.

- Да уж знаю.

- Ничего ты не знаешь.

Шурка смолчал. Выехали за деревню. Въехали в рощу. Алка с Галкой заохали, завздыхали:

- Красота-то! Какой лес! Какой воздух!

А я смотрела и думала: лес как лес и воздух как воздух.

А Шурка угодливо поддакивал:

- Лес что надо. Воздух - ключевая вода.

Я спрыгнула с рыдвана. Езжай, предатель. Пешком пойду.

Предатель... Я замедлила шаг.

Что это слово прилипло ко мне? Он не предатель!

Шурка хлестнул вожжами лошадь, и рыдван, поднимая пыль, скрылся за поворотом.

Горло мое сдавила обида. Предатель...

Я остановилась.

Что это я? Он же не знает, что я сошла.

Знает.

Нет, не знает.

Знает.

Нет, не знает.

По лесу зазвенел Шуркин голос:

- Ка-па! Эге-ге-ге-е!

Я молчала.

- Ау-у-у-у!

Топот конских копыт. Грохот колес.

- Ты чего?

- Я ничего.

- Сошла чего?

- Тебе и с ними хорошо.

- Злюка. Садись.

- Не сяду.

Шурка спрыгнул, взял у меня грабли, кофту, положил на рыдван.

- Сядешь.

Сбегал на поляну, принес охапку мягкой завялой травы.

Я села.

- На что ты обиделась?

- "Лес что надо. Воздух - ключевая вода"! - передразнила я его.

Шурка засмеялся:

- А я люблю тебя.

Я на миг уставилась на него.

- Не веришь?

- Как мальчишка мальчишку?

- Нет.

Шурка встал на рыдван во весь рост, замахал вожжами, запел:

Эх, тачанка-ростовчанка,

Наша гордость и краса,

Украинская тачанка,

Все четыре колеса...

Лошадь бежала крупной рысью.

Придорожные деревья обнялись ветвями, закружились в тесном хороводе.

Закружились солнечные полянки. И все вокруг зазвенело, запело, затанцевало вместе с Шуркой.

А я какая-то обескураженная смотрела на него и ничего не понимала. Я не чувствовала радости. Хотя давно ждала, давно хотела, чтобы Шурка полюбил меня.

Шурка пел, дурачился, хохотал.

А я, растерянная и напуганная, прислушивалась к самой себе. Прислушивалась, а перед глазами всплывали то сторожка дяди Еремея, то заплаканное лицо Шуркиного отца.

После того, что я услышала и увидела в сторожке дяди Еремея, во мне что-то надломилось...

Шурка утих. Сел рядом со мной, положил на колени вожжи.

- У тебя что-то случилось?

- Нет, Шурк, ничего... Я тоже тебя люблю.

Я сказала это тихо, безразлично. Зачем сказала - не понятно. Сказала, видимо, потому, что эти слова давно были припасены для Шурки.

- Я знаю. Мне Зойка говорила.

Я уныло улыбнулась.

- Я тебя всегда буду любить. А ты?

- Я тоже.

- Давай поклянемся.

Я равнодушно ответила:

- Давай. А как?

Шурка достал из кармана перочинный нож, сделал и на своей руке царапину и на моей, смешал свою капельку крови с моей, сказал:

- Кровь за кровь. Любовь за любовь.

Я вяло повторила.

Шурка сказал:

- А ты отчаянная.

- С чего ты взял?

- Отец говорил.

Меня словно кнутом ударили. Ударили наотмашь, больно. Я соскочила с рыдвана.

- Значит, то верно? - спросил Шурка.

- Что?

- Что Еремей застрелить отца хотел?

- Врет твой отец.

- Врет?!

- Да. Все, все, все врет!

Я захлебнулась слезами и бросилась в кусты. Невеселый для меня был сенокос. Со мной произошло что-то ужасное. Я все время думала: "Зачем дядя Афанасий наврал на дядю Еремея? Зачем? Какой он плохой человек. А Шурка..."

Во время работы я украдкой наблюдала за ним, все искала в нем чего-то и не находила. Это мучило меня.

В отчаянии я кричала про себя: "Я люблю, люблю его!"

Убеждала себя, что Шурка хороший, добрый, красивый, умный, смелый. Но сердце при взгляде на него не замирало, как раньше. Оно не слушалось моего голоса.

А по вечерам мы подолгу сидели с ним на берегу озера, в котором безудержно квакали лягушки.

Я надеялась, что отчуждение пройдет. Терпеливо сидела, разговаривала и равнодушно позевывала.

Шурка сердился.

Иногда Шурка брал мою руку и весь вечер держал в своей руке. Я не отнимала руку, мне не хотелось его обижать.

Однажды Шурка сказал:

- Когда мой отец был партизаном, он прятался от немцев где-то здесь, вот у этого озера в стоге сена.

- Не говори об этом, - попросила я.

Но Шурка продолжал:

- Страшно было. Немцы искали его с собаками.

- И не нашли?

- Нет.

- Странно.

- Что?

- С собаками - и не нашли.

- Он в озере прятался. Понимаешь, под водой. Дышал через соломинку.

- А он, Шурк, не сказывал, кто партизан предал?

- Еремей. Это всем известно.

Утром я ушла из лугов. Ушла рано, все еще спали.

На повороте, у толстого огромного дуба, меня догнал Колька.

- Он обидел тебя?

Я заплакала.

- Нет, Кольк. Он не виноват.

- Я ему, знаешь... - Колька сцепил зубы.

- Не надо, Кольк, он сильнее тебя.

- Я трактором его задавлю.

Я вытерла концом шелковой косынки глаза.

Колька... Хороший мой друг Колька.

Сказала:

- Я люблю его, Кольк.

Колька оторопело заморгал ресницами.

- Неправда!

- Правда, Кольк. Правда.

Отвернулась и пошла. И Колька пошел рядышком со мной и шел до самой деревни. Шел и молчал, шел и пинал высокие придорожные стебли коневника.

У околицы остановился, достал из нагрудного кармана смятую папиросу.

Я взяла у него ее, бросила и растоптала.

- Не надо, Кольк, курить.

И мы расстались. Грустные, молча. И дома меня поджидало несчастье: у нас обвалилась печь. Старенькая она была. Кирпичи пообгорели и рухнули.

А без русской печи в деревне что без рук. Она и поит и кормит. Мы-то еще ладно, как-нибудь на хлебе с зеленым луком перебьемся, а поросенок... Он вон какой кабанище, вымахал, ему картошки ведерный чугун каждый день вари да столько же воды грей. Сухую картошку он есть не будет, пойла давай.

Пришлось у соседки, бабушки Настасьи, печку топить.

А со своей печкой не знали, что и делать.

Мама извелась вся, думаючи. К председателю ходила. Он прислал печника. Покрутился печник возле нашей печки, постукал молотком и сказал:

- "Голландка" из нее получится, а русская печь - нема. Кирпичи требуются.

Кирпичи... А где их возьмешь? Они на дороге не валяются.

Мама опять к председателю.

Он пришел к нам сам. Тоже походил вокруг печи, тоже постукал молотком, покачал головой и сказал:

- Кирпичей у меня, Агриппина, сама знаешь, нет. Придется угол церкви разбирать. Все едино она, экая верзила, без толку стоит.

Мы попробовали, ничего не вышло. Церковь как железом спаянная. Щебенки наколотили ворох, а цельного кирпича ни единого не добыли.

Спасибо, дядя Еремей нас надоумил.

В лесу была партизанская избушка когда-то. Саму избушку немцы сожгли, а обгорелая печь стояла без трубы, разваленная.

Вот дядя Еремей и сказал нам:

- Разберите, а я перевезу.

Мама обрадовалась:

- Как это я раньше не сообразила?

Спросила меня:

- Разбирать, дочка, пойдешь или стадо пасти погонишь?

Я подумала-подумала и решила к партизанской избушке идти. Я не люблю однообразную работу, к ней привыкаешь, и она становится неинтересной.

До партизанской избушки километров пять. Это ежели шагать напрямую по клюквенному болоту, а ежели в обход - и того больше.

Я пошла в обход. По болоту одной страшно. Там такой бурелом, местами топь, а местами такие заросли крапивы, в которых недолго заблудиться и сгинуть.

День стоял солнечный, жаркий, безветренный.

Деревья не шелохнулись.

Едва заметная травянистая тропа вилась, петляла по берегу хмурого болота, над которым всегда висело зловещее безмолвие. Оно пугало меня, напоминало пушкинское стихотворение:

Там тишина, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей,
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей.

А избушка, верно: без окон и дверей. Четыре обгорелых столба.

За избушкой - озеро, круглое, как блюдце, обросло ивняком, будто ресницами опушилось.

Искупаться бы в нем. Да где там... К нему не подберешься.

Присела в холодок куста, решила поесть. Достала из сумки длинный, покрытый пупырышками огурец, соль, завернутую в лоскуток, хлеб и, приминая высокую траву, заметила на земле маленький-малюсенький пузырек. Отколупнула его и застыла.

Патрон. Позеленелый медный патрон. Нестреляный, с острой пулей. Смерть. На моей ладони покойно лежала затаившаяся смерть.

Партизаны... Они здесь умирали. Их глаза последний раз смотрели вот на это небо, на этот лес, на это озеро. О чем они думали?

Зачем люди убивают друг друга? Зачем убили моего папу? Убила вот такая же смерть.

Я понюхала патрон. Ничем не пахнет. Приставила острием к

виску и тут же отдернула руку. Страшно.

А партизанам... Дядя Еремей говорил, что Васятке было пятнадцать лет. Как мне сейчас. И уже воевал. Погиб. Эх, дядя Афанасий! Струсил... Жить захотелось. А я бы струсила?

Я задумалась. Когда Зойка протыкала иголкой руку, у меня сердце замерло от страха. А если бы...

Нет. Я бы ни за что не предала партизан. Пусть что угодно. Я бы лучше умерла. А Шурка?..

Почему я его больше не люблю? Хочу любить, а не люблю. Странно. Как непонятно все в жизни.

Я положила патрон в карман.

Он зарылся в уголок, притаился. Холодным острым носом прижался к моей ноге.

Смерть. Я вскочила, размахнулась - и дзинькнуло разбитое зеркало озера. По воде побежали мелкие морщины.

"Ты там не оживешь. А на земле... ишь притаился. Мишка найдет, бросит в печку..."

На дереве захохотала сорока. Послышался скрип телеги. Я спряталась в траву. Кто едет в такую глушь? Зачем?

- Дядя Еремей?..

- Я, дочка.

- Вы уже приехали?

- Приехал.

- А у меня еще не готово.

- Ничего, вдвоем сготовим скорее.

- Дядя Еремей, у вас же сенокос?

- Подсохнет малость сено, а завтра ты мне поможешь сгрести.

- А мама отпустит?

- Отпустит. Я договорился с ней.

Дядя Еремей распряг лошадь, и она смачно зажамкала сочную траву.

Мы подошли к полуразрушенной печке. Дядя Еремей погладил остатки кирпичной трубы и вдруг погрустнел.

- На этих кирпичах, дочка, я в детстве бока грел.

- Вы?!

- Да, я.

Ничего не понимая, я растерянно смотрела на дядю Еремея.

Он ответил:

- Давай разбирать.

Работал дядя Еремей быстро, а говорил медленно. Говорил, будто камни укладывал.

- Когда нас раскулачили, я совсем молодым был, а отец - старик. Меня не сослали в Сибирь, я еще в отцовском деле не участвовал. А отца сослали. И поехал я вместе с ним. Я любил

отца. Крутой он был, но умный. Бывало, мне одно только твердил: учись, Еремей, учись. Богатство - дело шаткое, а ученье да ум - ох, крепкая штуковина. Не пошатнешь и не отнимешь, не сгорит и не утонет. Учись, дело надежное и всем нужное: и богатому и бедному. Да, вишь, не получилось у меня ученья-то... Добрались мы до Сибири сносно. Отец бодрился, часто говаривал: "Не тужи, сынок, начнем все сызнова, была бы голова на плечах. Старики сказывали: Сибирь - страна богатая, жить можно. Приедем, устроимся, мать затребуем".

Поначалу лес пилили, потом работали на стройке. Завод строили. Комнату в бараке нам дали. Отец повеселел, но ненадолго. Скоро он слег.

И остался я на всем белом свете один-одинешенек.

Перед смертью отец сказал мне:

"Не держи, сын, зла на Советскую власть. Тебя она не обездолила. У меня она отняла мое, а у тебя ничего не взяла, ни землю, ни волю. Живи, работай".

Похоронил я его в каменистой уральской земле, посмотрел на все четыре стороны и подался в шахты руду добывать...

Дядя Еремей достал кисет, скрутил большую папиросу, прикурил, затянулся, положил папиросу на чурбачок, поплевал на руки, взял красный от кирпичной пыли топор.

Печь разбилась легко.

- Вернулся я в деревню как раз накануне войны. Денег у меня было много. Думал: отдохну лето, насмотрюсь на родные места и махну в город. Отвык я уж от деревни-то. Ан нет, не тут-то было. Война началась. На фронт меня не взяли из-за ноги. Придавило мне ее малость на Урале в шахте.

Вскорости немцы пришли к нам в деревню. Пришли неожиданно, тихо, словно бы и не война. Приехали и, ясное дело, сразу ко мне. Обиженный властью. Старостой будешь. Я отказался. Избили они меня, крепко избили. Не припомню, как я к себе в баню уполз. Я тогда в бане обосновался...

Очнулся на полу. Горит лампа. На пороге сидит какой-то человек, бледный, небритый, в разодранной гимнастерке. Сидит и срывает с руки окровавленную повязку. Я обрадовался - свой. Гляжу на него, а ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Пить хочу, а язык дубовый. Он догадался. Зачерпнул в кружку воды, напоил меня. Смеется: "От какого, говорит, дурья башка, хорошего места отрекся".

Я только зубами скрипнул.

Позднее, когда мы с ним чуть оправились, он опять ко мне с этим разговором. "Придется, говорит, тебе, Еремей Николаич, на поклон к немцам сходить".

Я малость его не зашиб со злости. Сгреб в охапку и в угол швырнул. Он на меня. "Ты, говорит, что, очумел!" - "А ты, говорю, что?" - "Дурак, говорит, ты, Еремей". - "Умник, говорю, нашелся. "На поклон". Я им поклонюсь! Дай, говорю, оклематься. Так поклонюсь - тошно будет".

А он свое - поклонишься. Я схватил ковш. "Стой!" - крикнул он. Достал партийный билет, командирскую книжку и говорит: "Я все видел. Я тебя и приволок сюда. Человек ты наш, советский, надежный, и это тебе приказ. Понял?" - "Ничего, говорю, не понял". Он растолковал.

И заделался я, по воле Советской власти, немецким старостой. А он с мужиками в лес ушел.

Холода наступили. Построили они вот эту избушку, а кирпичей нет. Разобрал я тогда ночью печь в своей избе и перевез сюда. А теперь мы с тобой переправим ее обратно.

- Дядя Еремей, а вы знали, что партизанский отряд предал Шуркин отец?

- Нет, дочка, я этого не знал. Знал, что кто-то наш, деревенский, а кто - не знал. Афанасий сам себя выдал. Я несколько раз заставал его здесь вот. Однажды гляжу, стоит он вон у того столба на коленях и что-то шепчет. Я окликнул его. Он повернулся, бледный, дрожит. "Устал, говорит, я, Еремей". - "Вижу, говорю, что устал". В тот раз он и пришел ко мне в сторожку.

- Дядя Еремей, а он в деревне сказал, что вы его застрелить хотели.

- Ну-у? Вот, значит, как, был подлецом и подлецом остался.

И дядя Еремей умолк в тяжелой задумчивости.

В сумерки, когда мы приехали в деревню и сложили у нашего крыльца кирпичи, дядя Еремей вызвал на улицу Шуркиного отца. Они ушли за околицу и о чем-то долго разговаривали. В полночь дядя Еремей уехал к себе в лес.

А на ранней утренней заре нас разбудил истошный крик.

Кричала и плакала Шуркина мать. Дядя Афанасий повесился...

В этот день мы с дядей Еремеем сгребали в лесу сено.

Дядя Еремей был угрюмый. За весь длинный день мы не сказали друг другу ни слова. Нас мучила смерть дяди Афанасия.

На похоронах Шурка не плакал. И когда могилу зарывали, не плакал. Стоял и не мигая смотрел, как каменный. И с кладбища не ушел со всеми вместе, остался у могилы один. Я шла и часто оглядывалась и видела, что Шурка стоит все на том же месте.

На повороте я оглянулась последний раз. Шурка лежал на могильном холме вниз лицом.

Я ушла в лес к дяде Еремею, он обещал нам сена, и я помогала ему косить. В субботу мы метали первый стог. Дядя Еремей подавал и укладывал сено, а я стояла на стогу. Вдруг мы услышали стук топора. Дядя Еремей бросил вилы и торопливо зашагал в сосновый бор. Я съехала со стога, отряхнулась, побежала следом за ним. Сердце у меня учащенно колотилось. Я предчувствовала какую-то беду. Кто-то рубил дерево, явно вызывая дядю Еремея. Рубил рядом с его сторожкой.

Шурка... Я обмерла.

- Стой! - издали крикнул дядя Еремей.

Шурка продолжал рубить.

- Стой, говорю!

Шурка воткнул топор в землю, правой рукой оперся на топорище и замер в полусогнутом состоянии. Бледный, злой.

- Зачем рубишь?

- Крест сделать.

- Не дури. Брось!

Шурка молчал. Прищуренными глазами по-кошачьи следил за дядей Еремеем. Рука, державшая топор, дрожала.

- Шурка! - взвизгнула я.

Он, как от толчка, выпрямился, прыгнул к дяде Еремею.

Сверкнул топор. Дядя Еремей попятился, охнул. Шурка бросился в кусты. Из плеча у дяди Еремея капала кровь.

В больнице ему наложили швы, забинтовали. Врач сказал:

- Удар топором.

- Нет, что вы! - запротестовал дядя Еремей. - На косу я сослепу наскочил.

Врач прищурился и покачал головой.

Ночью Шурка постучал к нам в окно, позвал меня на улицу, спросил:

- Я убил его?

- Плечо разрубил.

- Жалко.

Я заплакала:

- Ты... Ты... Ты подлец. И отец твой был подлец. Уйди.

Шурка наотмашь ударил меня по щеке и нырнул в темноту. Я тихо осела на ступеньку крыльца, уткнулась лицом в колени.

- Шурка... Шурка...

И захлебнулась слезами.

Когда я очнулась, светало. Ночь боязливо уползала в глубокие овраги. В овраги нашего детства, где терпко пахло знойным дурманом. На высоком бугре за деревней умывалась росой трепетная заря.

* * *

С Шуркой мы больше не встречались. Он испугался, что дядя Еремей заявит в милицию, и уехал в город. Сбежал, проще говоря, и не появлялся в деревне несколько лет. Присылал матери деньги, писал письма, а сам не приезжал.

В некоторых письмах Шурка спрашивал обо мне. С этими письмами Зойка прибегала к нам и, радостная, читала их вслух. Она все просила меня написать Шурке. Я обещала ей, но так и не написала, потому что Шурка мне не писал.

В городе Шурка устроился в техническое училище, потом работал на авиационном заводе слесарем и одновременно учился в аэроклубе. Из аэроклуба Шурка перешел, а может, его перевели, я точно не знаю, в летную школу. Окончил ее и получил направление на Север в воинскую часть. Вот тогда-то Шурка и приехал в деревню. Но я не видала его. Я в то время жила в городе - училась в медицинском институте.

Говорят, приехал с нарядными погонами - лейтенант. Ходил к дяде Еремею, извинялся. Дядя Еремей обнял его и заплакал.

Пробыл Шурка в деревне всего две недели, отремонтировал матери двор и уехал.

Через год Зойка показала мне его фотографию.

Шурка стоит возле огромного валуна. На груди орден. Глаза прищурены видимо, Шурка чем-то смущен.

За что Шурка получил орден - он не писал. А вот что собирается в отпуск, написал. Но не приехал.

При исполнении служебных обязанностей Шурка погиб.

Об этом я узнала из газет. Там же сообщалось, что Машину Александру Афанасьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

И встал Шурка в сквере перед нашей школой в коричневом мраморе. Встал и все смотрит в небо. Грустно так смотрит. Тяжел коричневый мрамор.

Рядом со школой совсем недавно появилась веселая изба с голубыми резными наличниками. Изба Кольки и Зойки.

У них двое детей, два мальчика.

Колька окончил школу механизаторов и работает на тракторе. В деревне его любят. Добрый он, отзывчивый. И усадьбы весной всем перепашет, и сено из лугов, и дрова из лесу привезет.

Зойка работает на ферме - свинаркой. Депутат сельского Совета. Модница, каких свет не видывал. Как ни приеду в деревню, обязательно обновками похвалится.

А я бываю в деревне часто - почти каждый год. Хотя мамы уже нет. Умерла три года назад. Умерла в областной больнице у меня на руках.

Когда я вспоминаю о ней, предо мной всегда встают ее

широко открытые, по-детски удивленные предсмертные глаза.

Похоронена она в той же могиле, где похоронен и папа. Лежат они под одним крестом, который когда-то сделал Шуркин отец. Возле креста радостно тянут к солнцу тонкие ветви береза и молодая рябина.

Могильный холм заботливо выложен зеленым дерном. И всегда в летнюю пору лежат на могиле завялые нежные лесные цветы. И я знаю, что приносит их дядя Еремей.

С мамой они так и не поженились. Почему? Не знаю.

Большой пятистенный дом, который начал строить дядя Еремей, так и остался недостроенным, потемнел, стоит одиноко на окраине села. В пустых проемах окон в ненастные дни гудит тоскливо ветер. А дядя Еремей так и живет в лесной сторожке. Постарел он, поседел.

В деревню я приезжаю к нему. И отдыхаю от торопливой городской жизни. Сплю на сеновале, на свежем душистом сене. По утрам меня будит горластый красный петух. Полусонная, я бреду по росной тропе к озеру умываться. После завтрака мы с дядей Еремеем обходим его необъятные лесные просторы, а по вечерам, усталые, пьем с медом чай и подолгу молчим.

Живу я в городе Горьком с озорником Сережкой. Бедовый он парень. Покоритель мира - Наполеон, Лев Толстой, Степан Разин, Джек Лондон, Феликс Дзержинский - вот кто мой великий спорщик, ученик десятого класса, Сережка.

Нюрка недавно закончила медицинское училище и уехала работать на Алтай. Пишет, что устроилась хорошо. Мы с Сережкой верим и не верим ей. Если и плохо, она ни за что не признается.

Мишка служит в армии. Присылает письма и фотографии. Бравый солдат. Вся грудь... пока в значках.